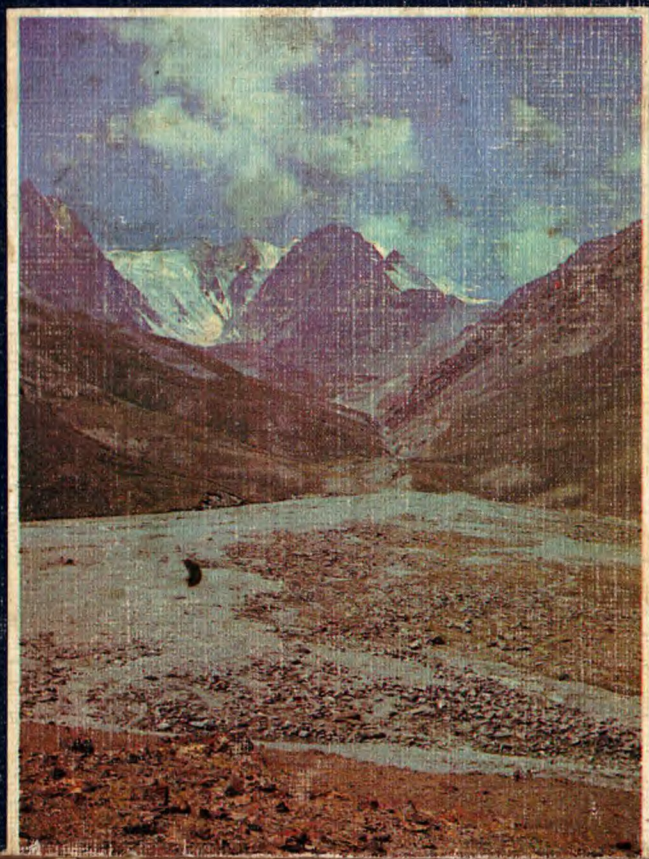


ОКМИР
АГАХАНЫЦ
**ОДИН
ПАМИРСКИЙ
ГОД**





Содержание

От автора	5
<hr/>	
«Год Змеи»	8
Начало года (из дневника, 16—17 июля)	—
Хоздоговор (из дневника, 17 июля)	14
Кое-что о календарях (отвлечение)	16
Суета сует (из дневника, 18—20 июля)	18
<hr/>	
Полевая рутина	21
Монолог «динозавра» (отвлечение)	—
Профиль (из дневника, 20—21 июля)	25
К могиле Александра Македонского (из дневника, 22 июля—5 августа)	29
Шипадская щель (из дневника, 5—9 августа)	35
Цветной сон (из дневника, 10—17 августа)	39
Двадцать четыре часа (из дневника, 17—18 августа)	42
<hr/>	
Разгар сезона	48
«Троянский конь» (из дневника, 18—20 августа)	—
Белое пятнышко (из дневника, 22—27 августа)	53
Три ЧП (из дневника, 3—23 сентября)	59
Памирцы (отвлечение)	66
<hr/>	
Осень в горах	73
Паланг (из дневника, 28—30 сентября)	—
Бестолковая поездка (из дневника, 6—12 октября)	79
Годы спустя (отвлечение)	82
Двойной гонорар (из дневника, 27 октября—6 ноября)	86
<hr/>	
«Камералка»	91
Суть дела (отвлечение)	—
«Самородок» (отвлечение)	98
«Терескен с брусничкой» (из дневника, 22—28 ноября)	102
Камеральная сюита (отвлечение)	106
Час платежа (из дневника, 10 декабря—3 января)	109
Конец «камералки» (из дневника, 7 января—20 апреля)	111
<hr/>	
Работа в долине	113
Задача (отвлечение)	—
Команда (из дневника, 3—4 мая)	114
Райцентр (из дневника, 4—9 мая)	116

Начало работы (из дневника, 9—12 мая)	118
Жажда (из дневника, 12—17 мая)	122
Спасение (из дневника, 17—25 мая)	125

Новый памирский сезон 129

Город Ош (отвлечение)	—
Первый заезд (из дневника, 28 мая— 1 июня)	132
Все мы братья (из дневника, 8 июня, отвлечение)	137
Организационные дела (из дневника, 11—12 июня)	142
На юго-восток (из дневника, 13— 17 июня)	145
На северо-восток (из дневника, 17— 19 июня)	151
Джурабы (из дневника, 20—25 июня)	153
Маленький великий путешественник (из дневника, 26—27 июня)	156
«Большая мозоль» (из дневника, 28 июня—9 июля)	161

Конец «года Змеи» 167

Неожиданный вызов (из дневника, 11 июля)	—
Ветер называется «афганец» (из днев- ника, 12 июля)	171
Гушхон (из дневника, 13—14 июля)	175
Ванч—Душанбе (из дневника, 15— 18 июля)	181

Пыль оседает (заключение) 187

...Всякий, кто эту книгу прочтет или выслушает, поверит ей, потому что все тут правда.

Марко Поло

Что бы там ни говорили, а для меня в записках, основанных на собственном опыте путешественников, есть что-то нескромное. Работают все, а пишут о своей работе очень немногие. Но уж если пишут, то волей-неволей им приходится что-то писать и о себе, в крайнем случае — часто употреблять личное местоимение первого лица.

В соответствии с этим соображением первую свою научно-популярную книгу я написал о растениях, горах и ботаниках, как бы рассматривая их со стороны. Книга называлась «За растениями по горам Средней Азии» (1972). Тогда меня упрекали за то, что в книге мало «личного присутствия». Я решил учесть замечания и написал книгу «На Памире» (1975). Личного присутствия в ней было сколько угодно: почти все очерки написаны от первого (то есть от моего) лица. Но ощущение некоторой нескромности от такой позиции оставалось, и в книгу я включил рассказы «со стороны». Целая глава была посвящена тому, что рассказывали «у костра» другие. Вот за эту-то главу мне и досталось. Кое-кто обиделся за анонимный характер изложения их рассказов, и мне пришлось сослаться на законы жанра.

Новый опыт позволил мне глубоко осознать, что в популярной книге следует писать только то, что увидел и узнал сам, и ни в коем случае не писать того, что рассказывают другие, иначе автор рискует репутацией добросовестного человека.

Эту книгу я написал исключительно на материалах своих полевых дневников. За рамками этих материалов в книге оказались так называемые отвлечения, написанные для того, чтобы читатель постоянно был в курсе дел, а также ради расширения календарных рамок: ведь события любого года так или иначе связаны с прошлым и в какой-то мере определяют будущее. «Отвлечения» как раз и стали формой выхода за хронологические рамки дневника.

Читатели, наверное, обратили внимание, что в книгах некоторых путешественников сами авторы выглядят очень мужественными, умными, находчивыми и

тому подобное, что благодаря этим их качествам экспедиционные дела идут успешно, программа исследований всегда выполняется, что если и встречаются трудности, то они связаны исключительно с коварством природы и усилиями сплоченного коллектива всегда преодолеваются. Честно говоря, у меня эта схема всегда вызывала желание внести поправки. Раз уж повествование ведется от первого лица, единственное, что не требует поправок, это вера в то, что после описываемых событий автор остался жив. И это прекрасно! Но реальная полевая работа часто полна неудач и непредвиденных трудностей. Сколько угодно их и в самом процессе научного творчества. О неудачах же писать как-то не принято. Эти сюжеты при отборе материала для популярной книги обычно выбраковываются самими авторами. Опускаются также детали, характеризующие автора не с самой блестящей стороны. Короче, происходит подсознательная сортировка автобиографического материала, как в мемуарах. И у читателя может сложиться, мягко говоря, не совсем точное представление о степени сложности нашей работы и о самих исследователях тоже.

Жизнь сложна и противоречива, и сплошных удач не бывает. Невезение (то есть неблагоприятное стечение обстоятельств) и промахи делают нашу работу очень пестрой. Пестроту усиливают и сложности человеческих отношений. Иногда трудности и неудачи бывают в пределах нормы, и тогда мы говорим, что полевой сезон был хорошим. Но иной раз они идут так густо, что трудные сезоны и годы запоминаются на всю жизнь. Эта книга об очень трудном годе работы в экспедициях на Памире. По календарю многих азиатских народов это был «год Змеи» — самый трудный в двенадцатилетнем «зверином цикле». Но неудачи и трудности могут быть очень плодотворными. В этом я давно убедился.

Признаюсь: и в этой книге не обошлось без сортировки материала — на временном расстоянии лучше видится день прошедший. Я отобрал только то, что интересно в моем понимании. Но такой уж это был год, что интересного в нем было предостаточно. Это повседневная работа (если угодно — «кухня» нашей профессии), это люди, горы, гипотезы и снова — будничная работа.

Все, что описано в книге, происходило в действительности. Не ручаюсь только за точность датировок: какая-нибудь описанная по тексту идея, например,

могла возникнуть и не в тот год, а в другое время. Так же могло случиться и с отдельными эпизодами: ведь в полевой дневник заносятся только сведения, прямо относящиеся к исследованию.

Каждому автору хочется, чтобы его произведение носило по возможности характер некоего обобщения. Самый простой способ добиться такого эффекта — это изменить имена персонажей. Тогда повествование как бы приподнимается над повседневностью. Частично и я использовал этот прием. Уверен: те, чьи имена изменены, не будут на меня за это в обиде, как и те, чьи имена сохранены в точности. Что же касается моего директора, известного ученого, ветерана изучения растительности Средней Азии, то из уважения к нему мы всегда за глаза называли его просто *Сам* (пойду к *Самому*, *Сам* приказал и т. п.). Так я называю его и в этой книге.

Итак, место действия — Памир, Душанбе, Южный Таджикистан, Дарваз, Ферганская котловина и опять — в основном — Памир.

«Год Змеи»



Начало года (из дневника, 16—17 июля)

Все, что может портиться,—портится (первый закон Чизхолма). Все, что не может портиться,—портится тоже (следствие первого закона Чизхолма).

Ф. Чизхолм

Жара в тот год стояла на Памире невообразимая. В продуваемом холодке метеорологической будки каждый день к часу дня столбик термометра добирался до цифры 38, цеплялся за нее и держался так часа четыре кряду, как приклеенный. Старожилы, которые обычно чего-нибудь да не упомнят, наперебой рассказывали всем: дескать, ничего подобного на их памяти здесь в Хороге не бывало. Им верили. По городскому радио синоптик сообщил, что такая температура в последний раз здесь наблюдалась лет семьдесят назад. Сомневаясь, что в те времена в Хороге вообще существовала метеостанция, синоптику не верили.

Жара взволновала всех. Ледники в горах таяли. После полудня талая вода вливалась в реки, и к вечеру грязный вал половодья достигал устьев крупных рек Памира. Вода срывала пешеходные мостики, подмывала и рушила грунтовые дороги, прорывала бровки арыков, выливалась в автомобильные колеи, вздувалась посередине речных русл коричневым бугром и угрожающе ревела. Временами по реке проплывали вырванные с корнем деревья, и это усиливало тревогу: там, в верховьях, что-то размыло, разрушило. Машины по Памирскому тракту шли по воде, как глиссеры. Приходили в Хорог забрызганными, но автоинспекция давно махнула рукой на «косметику». Не до того было.

По призыву облсовета жители вооружались шанцевыми инструментами и торопливо строили дамбы, чтобы уберечь дороги. Республиканские газеты печатали сообщения с места событий. На первой полосе областной газеты красовался улыбчивый бульдозерист Кадамшо Алихонов, совершивший на трассе чудеса трудового героизма.

Тем временем сам Кадамшо Алихонов, измученный двухсуточной вахтой, крепко спал на суфе придорожной чайханы, прикрыв лицо от мух этой самой газетой. Его портрет ритмично вздымался в такт храпу оригинала. В чайхане было шумно. Старожилы, сопоставляя климатические события разных лет, громко высказывались — в том смысле, что такая жарница неспроста и что-то будет... Чайханщик сбивался с ног, обслуживая прибывающих с тракта посетителей. Ревели моторы, хлопали дверцы кабин, раздавались хриплые голоса подъехавших водителей. Кто-то играл в кости, и вокруг шумели болельщики. Но на Алихонова все это не производило впечатления. Он спал.

Переступив через него, я сходил за шестым чайником, присел на край суфы и снова стал поглядывать на осточертевший уже поворот дороги. Шестой чайник означал, что сижу я уже пятый час. Рубаха прилипла к спине, но это было даже приятно: не так жарко. Каждый раз, когда в веере брызг из-за поворота появлялась машина ГАЗ-63, я ставил пиалу на край суфы, выходил на дорогу и всматривался в номер. Спереди все номера были забрызганы грязью, и обычно мне удавалось прочесть номер только вслед машине, на заднем борту. В случае чего машину ничего не стоило догнать. Чайханщик сказал, что на его мотоцикле это три минуты. Когда проходила очередная машина, опять не с тем номером, чайханщик вопросительно глядел на меня, я мотал головой, и он сочувственно вздыхал. Часы текли в потном зное один за другим.

Такое мое времяпрепровождение в придорожной чайхане было чисто деловым. Накануне из Душанбе пришла телеграмма о том, что позавчера в мое распоряжение выехала машина ГАЗ-63, номер такой-то, водитель Калашников, для обеспечения полевых работ по хоздоговору. Машина должна была приехать в Памирский ботанический сад. Это в семи километрах от Хорога. Там я базировался со своим отрядом. Поскольку к моменту получения телеграммы Калашников уже был в пути и изменить ничего нельзя было, я хотел перехватить машину в Хороге до того, как она проедет в сад. Поскольку фамилия водителя мне

ничего не говорила, а следовательно, узнать его в лицо я не мог, то вышел наперехват, зная только марку и номер машины.

А перехватить машину было просто необходимо. По моим расчетам Калашников должен был приехать сегодня во второй половине дня, может быть, даже к вечеру. Именно к этому времени вода в реках вздувалась особенно сильно. Старенький автомобильный мост через Шахдару, по которому в те годы ездили в сад, уже третьи сутки дрожал под напором реки и, как говорится, дышал на ладан. Если Калашников к вечеру проскочит в сад, а мост как раз в это время рухнет, то машина окажется заблокированной в бассейне Шахдары. Работать же нам предстояло в долине Язгулёма. И может оказаться так, что машина будет сама по себе, а отряд—сам по себе. Во что бы то ни стало надо остановить машину до моста. На всякий случай я подстраховался: уходя из сада, попросил дежурного немедленно перегнуть машину на левый берег Шахдары, если все-таки прозеваю Калашникова. А сам я тем временем сидел в чайхане и подстерегал его.

В городах все мы спешим куда-то, суетимся. Любая задержка на две-три минуты вызывает раздражение, и мы начинаем хмуриться и нервно поглядывать на часы. В горах к ожиданию относиться спокойно. Выработанная веками терпеливость охотника и земледельца здесь еще не утрачена, и постепенно приходишь в общий неторопливый ритм жизни. Прождать несколько часов, а то и дней здесь не стоит никакого нервного напряжения. Наверное, потому, что ожидания в горах неизбежны. Люди спокойно ждут урожая, выздоровления, рождения детей, приезда сына из армии... или вот машины. Суета и нервозность ничего изменить не могут.

...Наверное, я задремал. Когда очнулся, Алихонова рядом уже не было, жара немного спала, а у чайханы стояли машины, которых я не заметил на подъезде. Я встревожился. На мои расспросы чайханщик только пожал плечами. Прождав еще с полчаса, я не выдержал, сел на попутную машину и поехал в сад. Надо было точно узнать, не проморгал ли я Калашникова. Когда мы подъехали к шахдаринскому мосту, вокруг него, как возле тяжелообольного, суетилось множество людей. Дорожники обтягивали берега реки железной сеткой, самосвалы сгружали в русло камни, мостовики делали оттяжки из троса, милиция пыталась навести какой-то порядок в разъезде машин на узкой дороге, а десятки зевак и добровольных советчиков путались под ногами

у тех, кто работал. Водитель попутной машины глянул на все это, присвистнул и категорически отказался переезжать на правый берег:

— Иди-ка дальше сам. А то мост того и гляди рухнет.

Дальше я не шел, а почти бежал. Стопятидесяти-метровый подъем в ботанический сад одолел мигом. Запыхавшись, побежал по проезжей дороге сада. В конце ее, почти у обрыва, стояла машина ГАЗ-63 с нужным мне номером. Возле нее похаживал молодой парень и пинал ногами баллоны.

— Вы Калашников?— спросил я, подбежав, хотя и так все было ясно.

— Да. Володя. А я к вам. Телеграмму получили?

— Володя, дорогой, срочно разворачивайтесь и спускайтесь к мосту. Он еле держится, надо успеть...

Калашников все понял. Через минуту мы уже засерпантинили вниз. По пути я узнал, что дежурный к Володе не подходил. Подъезжая к мосту, мы увидели, что дело совсем плохо. Река вырвала две опоры, и мост накренился. Вода должна была вот-вот его сорвать. На том берегу все машины стояли почему-то неподвижно, а на нашем только две фигурки расхаживали возле гибнущего моста.

— Проскочу,— сказал Володя и выжал газ до предела.

Я глянул на него. Лицо парня было спокойно, и я поверил в успех. Только бы успеть! Всего две минуты, и мы проскочим. Только две. Даже меньше...

Перед самым мостом навстречу выскочил милиционер и поднял руку. Я верю, что на фронте Калашникова не остановил бы никакой обстрел. Но автоинспектор с поднятой рукой действует на дисциплинированного водителя безотказно. Это рефлекс, автоматизм, профессионализм, назовите это как хотите, но если водитель не преступник, он остановится перед властной рукой автоинспектора. Володя закачал ногой тормоз, я уперся руками в ветровое стекло, машину накрыла нагнавшая нас пыль.

— Товарищ лейтенант, я вполне проеду,— заговорил было Володя. Но лейтенант даже не ответил. Он молча указал пальцем на обочину и отвернулся. Я выскочил из машины и побежал к автоинспектору.

— Товарищ лейтенант,— закричал я, перекрыв шум реки,— мы успеем. Там же экспедиция, мы не можем без машины...

Лейтенант покосился на меня, покачал головой и

Собственно, обсуждались две взаимосвязанные проблемы: как вызволить машину хотя бы до закрытия перевалов и как выполнить работу без машины Калашникова.

Первая проблема представлялась особенно трудно-разрешимой. Дело в том, что Калашников мог теперь ездить только по долине Шахдары. Снизу он мог проехать километров шестьдесят. С верховьев бассейна была дорога в долину Гунта. Но между двумя этими отрезками дороги, которые могли бы вывести нас из тупика, не хватало километров тридцати. До половодья там шло дорожное строительство, и, кто знает, может быть, путь восстановят раньше, чем мост? Какая-то надежда вызволить машину Калашникова до зимы, следовательно, была. Что же касается судьбы хоздоговорной работы на Язгулеме, то она представлялась туманной. Ясно было, что без машины мы ее не выполним. На крайний случай машина нам нужна была хотя бы на две недели. Проговорив на эту тему еще с час, мы разошлись, так ничего и не придумав, кроме общего тезиса, гласившего, что «ситуация оставляет желать...».

Хоздоговор (из дневника, 17 июля)

Бездеятельный ученый подобен облаку,
не источающему дождя.

Арабское изречение

События предстоящего года были predetermined хозяйственным договором. На всякий случай объясню, что это такое. Научные темы можно разделить на плановые и хоздоговорные. Первые финансируются государством из бюджета. За выполнение же хоздоговорной темы платит то учреждение, по заказу которого выполняется работа. Например, какому-либо агропрому нужна карта кормовых угодий. Сделать ее могут только специалисты, работающие в Академии наук. Тогда ведомство заключает с академией хозяйственный договор на составление карты, перечисляет нужные для этого деньги, и работа выполняется в указанный срок. Если сроки и объем работ нарушаются, то это влечет за собой помимо чисто нравственных неприятностей еще и финансовые санкции, из-за которых работающая над темой группа может остаться без какой-то части зарплаты. Поэтому все и не отреагиро-

вали на предложение Рудика, которое было совершенно легкомысленным и неквалифицированным: за безделье даже по объективным причинам мы вполне ощутимо сели бы на финансовую «мель».

Просидев дотемна, мы ничего толкового не придумали. Вернее, придумали, но этот единственный вариант требовал от меня риска.

...Говорят, риск — дело благородное. Может быть, в определенной ситуации так оно и есть. Продуманный риск в боевой обстановке, например. Или ради спасения товарищей. Или же в маршруте, когда точно взвешенный риск обещает немалый успех. Да мало ли таких ситуаций, когда риск оборачивается благородным делом! Но благороден он лишь в том случае, когда рискуешь собой, а не другими. В данном случае мне надо было рискнуть именно собой. Но ощущения благородства от такого риска я почему-то не испытывал. Наверное, потому, что рисковать надо было не жизнью, не здоровьем, а репутацией. Риск заключался в нарушении финансовой дисциплины. Правда, могло и обойтись, даже при плохом варианте могло не дойти до крайности, но очень уж скверной была альтернатива...

Короче говоря, мы додумались до того, что существует единственный выход из создавшегося положения: выпросить где-нибудь на неделю или арендовать на местной автобазе другую машину. Беда была в том, что на наем автомашины сметой средства предусмотрены не были: ведь машину нам дали — ту самую, с Калашниковым. Зато были предусмотрены средства на наем вьючного транспорта, попросту говоря — лошадей и ослов. Прикинули, что если изменить тактику переброски базового лагеря, облегчить груз и утяжелить выкладку на каждого, то обойдемся минимумом лошадей, а на сэкономленные деньги можно арендовать машину. Риск же состоял в том, что из-за этой самой «неположенной» машины моя дальнейшая судьба могла повернуться совсем не в ту сторону. Казенные деньги — вещь серьезная.

Не помню уж, кто первым предложил. Помню, что сначала я даже обсуждать это предложение не стал. Но по мере вращения в замкнутом кругу все как-то исподволь возвращались к нему, и наконец оно стало казаться единственно возможным. Поскольку финансовая ответственность лежала на мне, решили, что последнее слово за мной: если рискну для пользы дела, значит, днями выезжаем на арендованной машине, выполняем план со всеми вытекающими из этого

приятными последствиями, а Калашников ждет постройки моста или отрезка дороги в верховьях Шахдари. А если не рискну, тогда либо срываем план со всеми вытекающими отсюда неприятными последствиями, либо я предлагаю какой-то третий выход, до которого сообщая не додумались.

— Не себе же мы эти деньги берем,— сказал один сотрудник,— для дела их тратим. Ведь если работу завалим, то какой убыток будет государству, а так никакого убытка. А то, что нарушим финансовую дисциплину, так ведь опять же для дела. Корысти-то тут нет. Мы даже на дополнительные трудности идем без вьючного транспорта.

Не совсем по правилам— это значит совсем не по правилам. Чего уж там смягчать. Но с другой стороны...

С другой стороны, было много всего: и мелочная опека финансовых органов, не дающая шагу ступить без параграфа, и невозможность предусмотреть такие вот ситуации в инструкциях, а главное— отвратительная альтернатива в случае провала мероприятия.

Размышляя надо всем этим, я спустился к Шахдаре. Было уже совсем темно. Шахдара ревела особенно надрывно. Постоял над ней, покурил, хотел было возвращаться, но тут из темноты появилась маленькая фигурка в белой чалме. Это Шамир, старейший работник ботанического сада. Он уже на пенсии был, а все наведывался в сад. Видно, засиделся сегодня. Поздоровались.

— Воды много, плохо,— сказал я, кивнув на Шахдару.

Шамир поцокал языком, вздохнул и что-то сказал. За шумом реки я не расслышал и переспросил.

— «Год Змеи»,— повторил Шамир.— «Год Змеи». «Год Змеи»! Ну надо же...

Кое-что о календарях (отвлечение)

Все врут календари...

А. С. Грибоедов

О «годе Змеи» и «зверином цикле» календаря я слышал и раньше. Шамир сказал правду, но не общую, а какую-то местную правду.

...Как только люди не измеряли время, как только его не отсчитывали! И по солнцу, и по луне, и по тому и

другому одновременно, и по сыпучему песку, и по капающей воде, по развертывающейся пружине, по качающемуся маятнику, по сезонам дождей и охоты, рыбной ловли и праздников. А отсчитывали время от разных дат — от «сотворения мира», от основания Рима, от начала разных царствований, от предполагаемой даты смерти Будды, от рождества Христова, от времени бегства Магомета в Медину, от эры французской революции, даже от первых Олимпийских игр. Если учесть, что разные народы свой календарь создавали, отсчитывая от разных исходных дат, а продолжительность года в разных исчислениях тоже была различной, если к этому добавить, что иногда в одной и той же стране в официальных документах ставилась одна дата, а в быту учитывалась совсем другая, отсчитанная по другой системе, то и без упоминания старого и нового стиля будет ясно, что самая большая неясность, а точнее, полная путаница проистекала именно в отсчете времени, где требуется как раз особая точность. И если я, например, получил бы письмо в какой-то день, то для Шамира тот же день был бы 3 мухаррама 1387 года хиджры, а для жителя Индии — 2 асадха 2021 года самватского календаря, на Тибете — 6 цинмин года Ма (лошади) цикла Цзинь мужского периода Гэн. И так далее. Здесь же, на Западном Памире, тибетский «звериный цикл» как-то наложился на мусульманский календарь, и получилась очень сложная система отсчета времени.

Все это я выяснил позже. А тогда только поспрашивал Шамира о «годе Змеи» и узнал, что года эти повторяются каждые 12 лет. Этот год начался вчера, 16 июля (то есть джумада по хиджре).

— Одни считают год чуть ли не от марта или января, — сказал Шамир, — а по-нашему получается, что этот год начался вчера, и это «год Змеи». Все «годы Змеи» трудные. Всегда в эти годы или неурожай, или мор пойдет. И сейчас воды так много, беда везде, — Шамир вздохнул. — А перед этим годом — «год Дракона», тоже плохой, но не такой плохой, как «год Змеи». «Год Свины» — это хороший всегда год. И «год Мыши» тоже хороший...

Воодушевленный новым «знанием», я стал применять его на практике. Начал с того, что подсчитал: родился я 2 зулхиджа 1336 года хиджры. Никаких практических выводов из этого не последовало. Потом я узнал, что родился в «год Зайца», а моя жена в «год Барса» («то-то я смотрю...»). Забавно. Можно, например, подсчитать, какого числа и года будет ближайший

праздник по юлианскому, григорианскому календарю, по хиджре, по календарям буддийскому, нововавилонскому, самватскому и даже по нескольким римским. Но ни один из них не мог указать, когда построят новый мост через Шахдару и как быть со сметой...

Суета сует (из дневника, 18—20 июля)

Спокойствие многих было бы надежнее, если бы дозволено было относить все неприятности на казенный счет.

Козьма Прутков

С утра 18-го побежал в Хорог. С исчезновением моста отрезок шахдаринской дороги стал тупиковым, транспорт по нему не ходил, и на пеший ход до города пришлось затратить час. Попытался с почты дозвониться до Душанбе в институт, но телефонистка сказала, что линия где-то оборвана (наверное, подмыло) и связи нет. В качестве «компенсации» мне вручили почтовый перевод на солидную сумму. Судя по штемпелю, перевод проскочил на Памир за день до катастрофического половодья. Деньги предназначались на полевые работы. Я ждал их. Пачка ассигнаций была так велика, что не влезала в полевую сумку. Работники почты упаковали деньги в сверток из нескольких газет, перевязали обрывком растрепанного шпагата и вручили мне. Подвесив сверток на палец, я стал бегать по городу в попытках как-то выправить положение.

Сначала поехал в кишлак Поршнев на базу к геологам, которые всегда выручали. Но на сей раз не получилось: все бортовые машины были в разгоне. Вернулся в Хорог, сходил еще раз в дорожное управление, ничего утешительного там не узнал и заглянул в исполком. Заместитель председателя предложил свой персональный «козлик» на неделю, но мне была нужна бортовая машина. Пошел по автобазам. На одной из них мне согласились сдать машину в аренду. Цена была сходной, и я прикинул: если на Язгулёме вместо двух ишаков нанимать одного, а остальное нести на себе, денег могло хватить. Оттягивая «миг падения», я обещал подумать до пятнадцати часов и снова стал искать какой-то другой выход. Подошло время обеда. Что-то съел в столовой и опять побежал по учреждениям. В тот день я, наверное, пробежал по городу километров двадцать. Наконец понял, что бегай не бегай, а смету надо нарушать.

Пошел на автобусную остановку. Под навесом было полно народа, и я сел на землю в узкой тени снаружи. Стал ждать вместе со всеми. На обочине сидел парень в ковбойке, читал книгу и время от времени похихатывал. Тогда ожидавшие автобуса все, как один, медленно поворачивали к парню головы, некоторое время вопросительно глядели на него, а потом снова отворачивались в сторону, откуда ожидался автобус. Когда мимо пролетали машины и пылили, парень морщился, фыркал, но продолжал читать. Один раз он разразился таким хохотом, что я не выдержал, присел возле него и покосился на переплет. Книга называлась «Роль горизонтальных движений в формировании альпийской структуры Памира». Ну и весельчак!

Потеряв надежду на автобус, я пошел пешком: приближался срок платежа за машину. Через некоторое время почувствовал какое-то неудобство, вроде бы что-то было у меня в руках, а теперь вот нет. Замедлил шаг, подумал и, охнув, опустился на обочину. Деньги! Ведь я носил сверток с деньгами. Свертка не было. Где-то я его оставил. Казенные деньги! Ослабшими вдруг руками подтянул спичку к сигарете и подсчитал, что теперь мне долго, ох как долго надо работать без зарплаты...

Если в городе мне надо срочно достать в долг, например, сто рублей, я не уверен в том, что через несколько часов получу деньги. Но если на Памире мне срочно понадобится в долг несколько тысяч, то можно не сомневаться: еще до вечера у меня будет нужная сумма. Будет столько, сколько «поднимут» мои друзья, а это много. Точно так же и я легко расставался со всеми своими деньгами до последнего рубля, когда нужно было выручать друзей. Денег на Памире на душу населения всегда обращается больше, чем в городе. Наверное, потому, что там приплачивают всякие полевые и районные надбавки. Поэтому сначала я прикинул, кто из друзей сейчас находится поближе, чтобы собрать нужную сумму и не сорвать полевые работы. А там уж постепенно как-нибудь выкручусь. Потом сообразил, что о потере надо заявить в милицию.

Проголосовал какому-то газику, вернулся в город, но пошел не в милицию, а по своему маршруту в обратном порядке. Хотя бы для того, чтобы потом не стоять в милиции дурак дураком и не бормотать, что даже не пытался сам отыскать деньги. Где я еще был? В столовой!

Столовая состояла из двух залов. Я обедал в

дальнем, где потише, всего четыре столика. Заглянул туда. Два стола были сдвинуты, и за ними сидела компания водителей, шумно делившаяся впечатлениями о состоянии тракта в половодье. Вошел. На меня никто не обратил внимания. На подоконнике грудой валялись сетки с лепешками, узелки с домашней едой, засаленная куртка. На моем свертке, перевязанном растрепанным шпагатом, лежала чья-то кепка. Я снял ее, взял сверток и вышел. На меня по-прежнему никто даже не посмотрел. Еще не веря в удачу, надорвал несколько слоев газеты. Из свертка показалась лохматая пачка ассигнаций. Посидел, успокоился и снова двинулся на автобазу. К вечеру у нас была бортовая машина и шофер Нияз. Он клялся, что утром будет готов. Пачка денег подтаяла, но мы вырвались из тупика. Утром, однако, Нияз не приехал.

Оказалось, что машина, которую нам выделила автобаза, как раз собиралась отмечать свой четвертьвековой юбилей. Сейчас таких и в музее не встретишь. А тогда, чтобы сдвинуть с места машину Нияза, нужен был «допинг» в виде разных запчастей. Их-то Нияз и добывал, клянясь своими детьми, что уж завтра-то с рассветом он будет у нас.

Не знаю, от расстройства ли, по другой ли какой причине у меня разболелся зуб. Одно к одному! Ехать с таким зубом на Язгулём — это зря терять время. И я пошел в поликлинику. Здоровенная дантистка, ухватив зуб щипцами, таскала меня по креслу минут сорок, основательно разворотила челюсть, напихала в рот ваты и дала с собой таблетки. В глазах у меня мелькали черные мухи. Обернувшись, увидел себя в зеркале. Лучше бы уж его не было. Из рамы на меня глядели красные, какие-то порочные, обведенные синими провалами глаза. Физиономия была перекошена, набитый ватой рот плохо прикрыт, вата в бороде...

Когда вернулся в ботанический сад, хотелось плакать, но вместо этого я наглотался порошков и уснул еще дотемна. Спал плохо. Ночью приснился кошмар. После него я еще несколько раз просыпался, дивясь фантазии измученного болью мозга. Когда в очередной раз я стал погружаться в зыбкий сон, под окном радостно засигналила машина. Это приехал Нияз.

Мы выехали из Хорога в 9 утра. У меня болело все: голова, челюсть и душа, маявшаяся от мысли о нарушенной финансовой дисциплине. От пещерных предчувствий было тоскливо: уж если за первые четыре дня «года Змеи» стряслось так много неприятностей, то что же дальше-то будет?

Полевая рутина



Монолог «динозавра» (отвлечение)

Я всегда с удовольствием отводил растениям более высокое место в ряду организованных существ, чем вообще принято.

Ч. Дарвин

Пока мы едем вдоль Пянджа к месту полевой работы, пока дорожная пыль остается позади, а навстречу дует приятный ветерок, остужающий воспаленную голову, есть время для информации, без которой вся суэта предыдущей главы покажется неуместной. Речь пойдет о нашей работе.

Мы — геоботаники. Это значит, что мы и географы и ботаники одновременно. В узком смысле наша задача заключается в изучении растительного покрова, в данном случае — растительности гор. Но трудно найти более универсальную специальность, чем наша.

Во-первых, изучая растительность, мы обязаны знать сами растения, то есть уметь отличать одно от другого и правильно называть. А их, разных видов растений, в горах Средней Азии более 7000. И все вряд ли кто знает. В каждом районе мы оперируем тысячью видов. Тоже немало, но уже доступно.

Геолог, которому захотелось переменить место работы, может переехать из Средней Азии, например, на Дальний Восток и в первый же сезон начать экспедиционную работу в поле. А геоботанику надо сначала освоить новую для него флору (состав видов, обитающих на данной территории), и толк от него на Дальнем Востоке будет лишь через пару лет. Поэтому

все мы очень привязаны к районам, в которых работаем. Некоторые геоботаники изучают свои районы десятилетиями и становятся узкорегиональными специалистами.

Привычка учитывать все попадающиеся на глаза виды лишает нас многих радостей. Я не могу просто гулять на природе: глазами все время шарю под ногами, а мозг фиксирует названия растений. Какая уж тут радость от прогулки!

Во-вторых, геоботаник должен знать не только «в лицо» растения, но и их экологию: вот этот вид растет исключительно на засоленных почвах, этот — на конгломератах, тот — только при зимнем максимуме осадков в среднегорьях и так далее. Увидев растение, геоботаник-эколог как бы смотрит на прибор и считывает его показания о среде, в которой это растение живет.

В-третьих, мы обязаны знать географию: почвы, климатические режимы и тектонику, палеогеографию, гидрологию и многое другое, что прямо или косвенно влияет на распределение в пространстве растений и растительных сообществ (о них речь впереди). И много еще такого, что надо знать геоботанику, часто вроде бы «постороннего». Например, какое животное какую траву предпочитает и в какой именно сезон. Как скусывает траву баран или верблюд и как отрывает ее корова. В какой сезон те или иные растения ядовиты, а в какой, наоборот, питательны для скота и т. д. Я уже не говорю об умении составить карту, оседлать коня, завьючить верблюда, переправиться через реку или выкрутиться из сметы. Эти умения — не геоботанические, они — общеполевые.

Но универсальность всегда стремится к дифференциации, к обособлению деталей. Такова логика развития науки.

Наше время, я бы сказал, — это век крупных специалистов по мелким вопросам, век экспертов, знающих все о чем-нибудь одном. Сейчас знать все обо всем на должном уровне невозможно. В науке идет глубокая специализация. Пройдет лет сто, и, возможно, не будет на свете геоботаников. Они вымрут, как динозавры. Вместо одного геоботаника-универсала будут работать множество узких специалистов по машинной диагностике растений, по космическому дешифрированию, по математическому моделированию сообществ, по геометрии ландшафтов и так далее. Скучно? Не знаю. Человек всегда человек, и среди этих экспертов будущего найдутся люди, способные на-

слаждаться поэзией и романтикой своей узкой профессии.

Уход от универсальности приводит к тому, что геоботаники то и дело «сползают» в пределы смежных профессий. Если работа дала крен в биологическую сторону, геоботаник может стать систематиком растений. Или ботаником-экологом. А если работа чуточку накренилась в сторону наук о Земле, геоботаник может стать физико-географом. Или палеогеографом. А увлечение прикладной частью работы может привести геоботаника в сферу сельскохозяйственных наук. Геоботаник всю жизнь балансирует на грани между разными системами наук. И часто скатывается в какую-нибудь сторону. Поэтому среди нашего брата можно встретить кандидатов и докторов и биологических, и географических, и сельскохозяйственных наук. Это результат официальной регистрации направления, в которое «скатился» с грани геоботаник. Но пока эти «травоядные динозавры» живы и делают свое дело.

Что делает токарь? Пекарь? Бухгалтер? Это знают все и легко отвечают на такой вопрос. Но как они свое дело делают? На этот вопрос ответить труднее, поскольку в ответе — суть профессии. Эту суть, мне кажется, можно свести к единой формуле: каждый специалист всю жизнь соблюдает профессиональные запреты. Токарю нельзя, например, обтачивать плохо зажатую в патрон деталь, пекарю нельзя ставить в печь плохо замешенное тесто, бухгалтеру... в общем, боюсь уточнять дальше: не та профессия. Много запретов и у нас. Некоторые — общие для всех исследователей, другие касаются только нашей работы.

Главный наш запрет: геоботанику категорически запрещено путать плакорные и неплакорные местообитания. Сейчас разъясню. Местообитания — это места, где обитают растения. А чтобы объяснить остальное, перенесемся в область фантастики... Представим себе, что существуют инопланетяне, которые догадываются о зональной структуре природы нашей планеты и для изучения растительности посадили в каждой природной зоне по «летающей тарелке». И стали наблюдать в иллюминаторы. Составят ли они таким способом хотя бы приблизительное представление о растительности зон? Конечно, это будет зависеть от того, куда сел корабль. Допустим, одна из «тарелок» приземлилась в пойме Амударьи...

В иллюминатор будут видны густые чащи деревьев, переплетенных лианами ломоноса, непроходимые заросли гигантских трав и все прочее, что растет на этой

пойме. И запишет инопланетянин, что для зоны, которую мы называем пустынной, характерны такие вот лесные чащи. И ошибется, конечно. Потому, что он распространил на всю зону нетипичную для нее пойменную растительность, развитую на грунтовом увлажнении. Нашему инопланетянину просто не повезло: посади он корабль километров на десять в сторону от реки, на водораздел, и о каком-то варианте пустыни у него сложилось бы правильное представление, как и о зональной растительности. Она развита на скудном атмосферном увлажнении и подчиняется зональным закономерностям. Это и есть плакорная, то есть типичная для зоны, растительность. А на пойме была неплакорная. Она не связана с сухим климатом пустынь, поскольку существует за счет речной воды. Поймы есть в любой зоне, и пойменная растительность никогда своей зоны не образует. Как и болотная. Или солончаковая. Никто не слышал и о луговой зоне. Или о тугайной. А знают о тундровой, лесной, степной и так далее.

— Ну и что тут мудреного? Подумаешь, профессионализм: отличить пойму от водораздела—это и каждый может,— скажет читатель.

Но сложность в том, что неплакорных местообитаний очень много. Это и террасы, и каменистые осыпи, и такыры, и солончаки, и чрезмерно крутые склоны, на которых почва не удерживается, и приключевые участки, и... словом, много таких мест, где растительность нетипична для зоны. Или для горного пояса. Почвы тоже могут быть неплакорными, не только растительность. Иногда сразу и не распознаешь, плакорный перед тобой участок или нет. Особенно в горах, где все так переплетено и запутано. Ошибиться и распространить растительность неплакорного участка на весь высотный пояс—это значит нарушить главный для геоботаника запрет. Нарушишь—и на карту лягут цвета, не отражающие реальной действительности.

Есть и другие запреты, но главный—этот. Я написал о нем потому, что он понадобится нам в дальнейшем.

Все науки отличаются друг от друга не только предметом исследования, но и методами изучения. Это и есть сумма ответов на вопрос, как то или иное дело делается. Этим методов много. У нас даже издан пятитомный свод методов полевой геоботаники. Но для наших целей, чтобы было понятно дальнейшее изложение, отмечу только один, тоже главный. Он называется методом профилирования. Суть его в том,

чтобы кратчайшим путем, желательно за один маршрут, охватить как можно больше разностей растительного покрова. Этого можно добиться, зная закономерности размещения растительности. Если в горах я проложу маршрут вдоль реки, то все время буду видеть лишь пойменную и долинную растительность, и цель маршрута не будет достигнута. Но если я пойду по горному склону снизу вверх, передо мной пройдет целая «гамма» типов растительности, сменяющих друг друга от теплых предгорий к холодным высокогорьям. В этом случае результат маршрута будет плодотворным, а профиль — информативным.

Внешне работа горного геоботаника, применяющего метод профилирования, выглядит как непрерывное хождение по склонам: вверх-вниз, снова вверх... и так далее. Поэтому он не должен быть хилым и хворым, ему все время надо преодолевать пространство и... гравитацию. Причем пешком. Только при пешем ходе видны и растения, и все остальные подробности. А транспорт — это для переброски груза от одной базы к другой.

Техника простая: переброска — установка базового лагеря — потом вверх-вниз — вверх-вниз — снова переброска вдоль горного хребта и снова вверх-вниз... Казалось бы, все очень просто: ходи себе, загорай, тренируйся, любуйся красотами природы, а заодно и работу делай. Жаль только, что желающих «поотдыхать» таким вот способом в горах выискивается меньше, чем хотелось бы.

А теперь вернемся в «год Змеи» на берега Пянджа. Пора и за работу браться. Мы и так потратили слишком много времени на организационные дела.

Профиль (из дневника, 20—21 июля)

Профиль — вертикальное сечение... по заданной линии, которая проводится в наиболее характерных направлениях.

Краткая географическая энциклопедия

Этот мягкий западный склон мы заметили часа через три после выезда из Хорога. Похоже было, что он снизу доверху был плакорным. Решили на сутки разбить под склоном лагерь. Заночевали. Чуть свет позавтракали, взяли с собой сухарей, сахару, пару фляжек с водой, гербарные папки, ледорубы и двину-

лись в путь почти налегке, рассчитывая к вечеру спуститься. По холодку, пока солнце не припекало, и самая работа. А когда оно взойдет, мы уже будем высоко, в прохладе. Принцип обычный: «кто рано встает...»

Понизу, тысяч до двух с половиной метров, по склону шла полынная пустыня. Вообще-то понятие «пустыня» растяжимое: и в знойной Сахаре пустыня, и в морозном (зимой) Северном Казахстане тоже пустыня. Здесь же мы привыкли нижний пояс растительности называть пустынным. Кое-кто из скептиков посмеивается:

— Какая же это пустыня, если тут зимой снежные заносы! В лучшем случае это полупустыня.

А что такое «полу»? Может быть, это полустепь? Ведь степных растений в этом поясе тоже немало. Или остепненная пустыня? Или опустыненная степь? И где рубеж между ними? В засушливых районах всегда так. Типы растительности легко смешиваются, границы между ними оказываются смазанными. Отсюда и споры. Понимая, что нашу западнопамирскую пустыню не сравнить ни с Сахарой, ни даже с Каракумами, мы осторожно называем нижний пояс Памира горной пустыней. Определение «горная» как бы стирает все различия между знойной пустыней равнин и такой, какую мы видим здесь.

Выше по склону полыней становится меньше, но зато все больше появляется колючих, прижатых к земле растений. Похожие на ежей акантолимоны. Зеленые подушки эспарцета, замаскировавшего свои колючки листьями. Вдавленные в землю астрагалы, открыто выставившие грозные иглы... Это уже пояс растительности, которую называют то трагакантовой («несущая колючки»), то нагорноксерофитной. Склоны здесь крутые, почва сносится вниз, и вся эта колючая «армада» вцепилась в каменистые почвы. Засоления эти растения не выносят, чем и отличаются от пустынных.

К тому же здесь прохладнее, меньше испаряется влаги, больше остается ее в почве. Больше, чем в нижнем поясе, но все равно мало. Поэтому живущие здесь растения называют ксерофитами, то есть засухоустойчивыми. А нагорными их зовут потому, что на равнинах они не растут — только в горах.

Около 3500 метров. В воздухе приятный запах эфирного масла: это котовник подколосковый так пахнет. Его ближайшая родня живет в Средиземноморье. Там такие сообщества называют томиллярами.

Здесь же мы загоняем их в прокрустово ложе степного типа растительности, тем более что много встречается и настоящих степных трав — ковылей, рисовидок, типчака. Если обнаглеть и написать в отчете, что это томилляры, то на совете в институте высмеют: «Какие там томилляры? Вы где работали — на острове Сицилия или на Памире?» И тому подобное. Нет уж, лучше напишу пока, что это степи. А там видно будет.

Вообще с классификацией растительности в горах Средней Азии путаница невероятная. Одну и ту же растительность называют по-разному, а различную часто «окрещивают» одним термином. И все потому, что горную растительность пытаются определять как и привычную равнинную. А увидев, что на равнинах такой растительности нет, придумывают для нее экзотические названия...

Вот в сторонке на склоне торчат перистые листья прангоса. Это зонтичное растение. По-местному — юган. Как только не называли тип растительности с сообществами югана! Полусаваннами, субтропическими степями, саванноидами, эфемероидным высокотравьем, умбеллятами, жаропокоящимися лугами, просто эфемеретумом. Прангос знойным летом желтеет и засыхает. Он — эфемероид. Растет только в горах — от Апеннинского полуострова до Синьцзяна. На равнинах его нет. Вот сообщества югана и стали привязывать к знакомым лугам, степям и саваннам. Или к эфемеретуму, что распространен на равнинах от Ближнего Востока до юга Средней Азии. Может, и правда, это эфемеретум? Но нет! Когда сопоставили юган с равнинным эфемеретумом, выяснилось, что, чем выше в горы, тем больше у югана сходства с ритмикой развития лугов, а чем ниже — тем больше общего с эфемеретумом.

Вот и разбирайся тут. Назову-ка я пока юганники умбеллятами, что в переводе значит «сообщества зонтичных». Так-то оно нейтральнее. И спокойнее. А там разберемся...

И снова откладываю на будущее все неясное: «после разберемся». Много таких отложенных вопросов удалось потом разрешить. Но еще больше так и осталось в числе неясных. Классификация — в их числе.

...Кончились томилляровые степи. Выше по склону пошли настоящие степи из ковылей, регнерий, костров. Потом — заросли лука. Настоящий лук, его и есть можно... Отметка в 4000 метров давно позади, склон

подобрался к самому гребню, к которому «прилипли» ледники. Под ногами дернинки с крупками, эдельвейсами, остролодками, лапчатками... Каждая дернинка — сама по себе. Это группы холодостойких растений. Их принято называть криофитомом. На наветренных склонах, где зимой много снега, криофитон замещается лугами. Вот и сейчас на северо-западном перегибе склона пестреют камнеломки, лютики, желтушник, горец... На сухом Памире они встречаются реже, чем здесь, на контакте с влажным Гиссаро-Дарвазом.

Выше идет ошетилившаяся острыми камнями морена. За ней — ледник, который когда-то соорудил эту морену. Она подпрудила талую воду, и образовалось неправдоподобно синее озерцо. Мы напилье воды, доели сухари и сахар, укрепили за спиной папки с гербарием — и почти бегом вниз. Приближался контрольный срок возвращения в лагерь.

После ужина, пока не стемнело, подвел итоги маршрута. Сверил все высотные отметки и нарисовал в дневнике профиль. Он оказался довольно типичным для этой части Западного Памира. Еще несколько таких профилей — и на карту лягут полосы, обозначающие пояса. На Западном Памире, куда ни пойдешь, они будут снизу вверх повторяться. Правда, с некоторыми изменениями. Где-то луга полностью заменят криофитон. Где-то выпадет степной пояс. Где-то повысится верхняя граница пустынного пояса. И так далее. Привычная картина. Но... Но кое-что на профиле мне показалось необычным. Среди полынных пустынь на щебнистых участках встретились группировки пузырьника-колютеи, кустики кизильника и даже миндаля. Их родичи живут на западе — от Средиземного моря до Гиссаро-Дарваза и Западного Тянь-Шаня. Как и родственники представителей томилляровых степей. И вообще на этом склоне оказалось много «выходцев» с запада.

Тот же юган. Или шиповники, что росли под скалами среди полынных. Они из Гиссаро-Дарваза, тоже с запада. И лук оттуда же...

Беру на заметку всех этих «западников» с западного склона и ложусь спать. Совсем стемнело. И ребята давно похрапывают.

К могиле Александра Македонского (из дневника, 22 июля—5 августа)

В Баласиане цари наследственные, произошли они от царя Александра. Все они из любви к Александру Великому зовутся по-ихнему, по-сарацински, Зюлькарнем.

Марко Поло

Утром добрались до кишлака Мотраун на нижнем Язгулёме и арендовали под базовый лагерь сад у давнего моего знакомого—деда Сафара.

В кишлаке Сафар слыл человеком великого ума, так как в детстве кто-то обучил его арабской грамоте. У деда был всего один глаз, но он стоил трех. Глаз был цепкий, веселый и хитрющий. Кроме глаза у деда была сравнительно молодая жена, одиннадцать детей, и, похоже, супруги не собирались останавливаться на достигнутом результате: Ашурмо ходила, подозрительно тяжело переваливаясь. Поэтому, когда следующим утром дед явился в лагерь и попросил арендную плату вперед, мотивируя просьбу тем, что ему надо ехать в район жениться, я чуть не упал от хохота, удивления и возмущения одновременно. Дед был похож на кого угодно, только не на жениха.

— Так у тебя же Ашурмо и дети,—простонал я.

Выяснилось, что дед Сафар собирался жениться именно на Ашурмо, а проще говоря—зарегистрировать наконец брак в загсе, чтобы оформить для Ашурмо материнский орден. Я облегченно вздохнул. Все разве-селились. Деньги деду были тут же выданы. Позвали его к завтраку. За чаепитием он спросил, куда и надолго ли мы собираемся идти? Я объяснил. Дед сказал «э-э-э» и поцокал языком. Это могло означать что угодно, и я попытался уточнить перевод глубоко-мысленного высказывания.

— Там мазар,—сказал дед,—там Искандер Зоркорнай похоронен.

Разговор этот я слыхивал уже не раз. Искандер Зоркорнай—это в переводе Александр Двурогий. Так здесь называют Александра Македонского. Почему «двурогий»—не знаю. Может быть, он шлем такой носил? Про македонского царя на Памире знают все. Знают даже про коня Александра—Буцефала. Утверждают, что от него пошла порода здешних коней. Рассказывают и такие «подробности», каких не встре-

тишь ни в одном учебнике истории. Например, о том, что есть такое озеро Искадеркуль (это верно), которое возникло в горах от удара меча Искандера (что неверно, если ориентироваться на геологию). Или о том, что, основав город (это верно: бывшая Александрия Крайняя, потом — Ходжент, ныне — Ленинабад), Искандер отправился в Индию (тоже верно), но забрел по пути на Язгульм, где поселился в верховьях, жил отшельником, умер и там же похоронен (что неверно, если учесть, что до Индии Искандер все же дошел). Но спорить с рассказчиками и доказывать им, что Александр Македонский никогда на Памире не был, что его войска прошли по меньшей мере в четырехстах километрах западнее, было бесполезно. Реакция была одинаковой:

— Откуда знаешь? Из книг? А мне мой дед говорил. А ему его дед...

И так далее. Приходилось только удивляться стойкости легенды о событии, случившемся почти 23 века назад.

С дедом Сафаром я тоже спорить не стал, но увидев скептическое выражение моего лица, дед стал доказывать, что про Искандера все точно и правильно.

— Вот ты видел в Гиссаре местных людей со светлыми волосами?

— Нет, не видел.

— А в Фергане? (он сказал: «в Паргане»).

— Также не видел, ну и что?

— А у нас на Юздоме (так местные называют Язгульму) много светлых. Вон, гляди...

Через сад и впрямь бежал светловолосый парнишка. На Язгульме, да и вообще на Западном Памире светловолосые люди не редкость.

— Все мы от Искандера пошли,— резюмировал дед, гордый неотразимостью аргументации, подтвержденной экспериментально.

Ничего себе аргумент! Ему, пожалуй, не докажешь, что этому «виной» рецессивные гены, носители которых оттеснены на окраины ареала. Да и некогда. К тому же самому в этом «эффекте блондинов» не все понятно. И не только мне. Я кивнул и перевел разговор в другое русло. После завтрака дед уехал «жениться», а мы принялись за подготовку к предстоящему походу.

Поход предстоял недели на полторы — надо было много успеть. Дело в том, что за год до описываемых событий я забрел в своих ботанических поисках почти

в самые верховья Язгулёма, наткнулся там в урочище Равид на березовую рощу, но тут же повернул обратно. Нарастала жара, мосты могло снести талой водой ледников, и был риск застрять. Тогда я успел проскочить, а потом и додумать увиденное.

Береза — северная порода. Предполагают, что она проникла сюда из Сибири через Алтай и Тянь-Шань в эпоху оледенений. В горных ущельях березняки разбились на изолированные друг от друга отдельные рощи, и без связи с березняками равнин в горах возникли местные виды берез, эндемичные (то есть нигде больше не встречающиеся). Эта порода — отличный строительный материал, да и дрова березовые хороши. Неудивительно поэтому, что березу изрядно повырубали. Но кое-что осталось, особенно в малонаселенных ущельях.

Раздумывал я над прошлогодними сборами в березняках урочища Равид. В гербарии оказался боярышник алтайский. Он вроде бы прямо указывал направление, откуда эмигрировал. Но рядом оказались две осоки, живущие на Кавказе. Они сбивали картину. Впрочем, объясню подробнее.

Растения в природе редко живут поодиночке. Как правило, если этому не препятствуют особо неблагоприятные условия, они входят в состав сообществ. Это слово я уже несколько раз употреблял и сейчас попытаюсь объяснить его. Если упрощенно, то сообщество — это группа растений, с которыми главный вид охотно сосуществует. При этом все совместно обитающие растения находятся друг с другом в сложных взаимоотношениях: одни виды господствуют, другие играют подчиненную роль. Эти взаимоотношения настолько прочные, что растения ведут себя как единое целое, как сплоченная семья. Сообщества формируются столетиями. Они укомплектовываются видами (одни приходят извне, другие выпадают из сообщества) до тех пор, пока не станут максимально соответствовать условиям среды. И если ведущее растение (береза в березняке, например) куда-то мигрирует под влиянием наступающего холода, то мигрирует и все сообщество. Сначала в полном составе, а потом, поскольку условия изменились и устойчивость сообщества ослабевает, часть видов из него по пути выпадает. И замещается другими. Но кое-что остается и из прежнего состава. Если найти мало изуродованный вырубками березняк, то можно обнаружить следы, указывающие на место, откуда береза двинулась в путь. Наспех собранные за год до этого растения указывали разные направления.

Поэтому надо было тщательнее обследовать состав верхнеязгульмских березняков.

Таков был план. Мой личный план, потому что официальный предписывал составление карты для заказчика, и эта часть работы обсуждению не подлежала. Мы готовились к походу. На оставшиеся от аренды машины деньги наняли несколько ишаков, простились с Ниязом, и он отправился в Хорог, пообещав вернуться за нами в середине августа.

Утром я сходил на реку. Воды было много. К сожалению. Значит, быть неприятностям с мостами. Я затеропил людей, и через час наш «караван» из пяти человек и четырех ишаков двинулся вверх по Язгульму.

Не стану описывать подробности продвижения: они похожи на многие другие. Скажу только, что главным препятствием тогда были снесенные рекой мосты. Мы сами их ремонтировали, а то и строили почти заново «на живую нитку», проходили по ним, и некоторые мосты тут же за нами разваливались, обещая «веселую» работенку на обратном пути.

Из-за дорожных передряг мне некогда было полюбоваться красотой долины. А она чудо как хороша! Узкая, будто прорубленная топором долина идет изгибами, так что каждый раз можно видеть ее не всю, а только на каком-то отрезке, не похожем на соседний. Склоны снизу чуть ли не на полкилометра «одеты» подвижными осыпями. Их подвижность мы все время испытывали на себе: пройдешь поперек осыпи, а она оползет под ногами, и следующий за тобой путник протаптыкает тропу уже чуть выше, а то немудрено и вовсе в реку сползти.

Над осыпями — отвесные растрескавшиеся скалы. Над скалами — не всегда видный зубчатый оледеневший гребень Ванчского хребта. Боковые ущелья все крутосклонные, некоторые и вовсе с отвесными стенами. Против каждого такого ущелья наклонными площадками лежат конусы выноса, накопившиеся за счет осадков, тысячелетиями выносимых рекой. Большинство конусов подрезано снизу рекой, и они обращены к ней отвесными стенками. На конусах — изумрудно-зеленые кишлаки. Может быть, это от контраста с серыми скалами и осыпями так кажется, но зелень язгульмских кишлаков всегда казалась мне особенно сочной.

Местами долина так сужается, что, подняв голову, охватываешь взглядом все видимое небо — синее, с рваными краями зажавших его хребтов. В верхней

трети долина расширяется, небу становится просторнее, появляется перспектива: пик Революции, белый гребень хребта Академии Наук, внизу — серые нагромождения морен древнего ледника, а ниже всего этого течет бурая лента Язгулёма в зеленом бордюре ивняков. Потрясающе красиво! Будь долина доступнее, многие могли бы радоваться этим красотам...

Чем выше мы забирались вверх по долине, тем веселее становились пейзажи. Повеселели и ишаки: стало больше подножного корма. Совершенно пустынная внизу растительность сменилась здесь степной. Потом появилась зеленая поросль зонтичных, эремурусов, коровяков, мальв. Среди травостоя стали попадаться кусты кизильника, жимолости, шиповника. Вдоль боковых притоков обильно росли ивы, тамариксы, боярышник, тополя, березы. Гербарные сборы пополнялись быстро, отметки на карте становились все гуще. Это радовало. Трудности пути не могли испортить хорошее настроение.

Вверху долина приобрела корытообразный поперечный профиль, а потом раздвоилась. Справа в Язгулём вливается река Мазардара, слева — Обиракзоу. Туда-то, к видневшимся уже арчевникам и березнякам, я и хотел пройти, но отмеченный на карте мост в натуре отсутствовал, переправляться же вброд нечего было и думать. И мы свернули на Мазардару. Старая тропа становилась все менее приметной, а потом и вовсе исчезла. Мы побрели, выбирая дорогу между моренными нагромождениями. И добрались до знаменитого мазара, где по убеждению Сафара был похоронен Александр Македонский. Здесь и поставили самый верхний наш лагерь.

Мазар был самым обыкновенным, типично мусульманским, что само по себе исключало его отношение к Александру, жившему почти за тысячу лет до возникновения ислама. Огороженный растрескавшимися рогами горных козлов (их тут было до сотни пар), мазар представлял собой разрушенную каменную кладку, из которой торчал шест с выцветшей тряпкой. И все. Это грустное захоронение никак не вязалось не только с блеском греческого полководца, но даже с элементарной зажиточностью.

На следующий день мы налегке добрались до Язгулёмского ледника. Потом еще день ходили профилями по окрестностям. Наконец, двинулись в обратный путь. В Матраун вернулись на день позже расчетного срока. Все из-за тех же мостов.

Потом был камеральный день. Приводили в поря-

док коллекции, записи, карту, взвешивали образцы укусов для определения урожайности травостоев, занимались стиркой, купались, и осталось еще время для размышлений. Материал по березнякам был богатым, и мне не терпелось поскорее обработать его. Но в поле это было невозможно, надо было ждать зимы. Поэтому сейчас я вынужденно забегу вперед.

...Зимой просмотрел все, что мог, и по березнякам, и по самой березе. Начать надо с того, что береза — на редкость изменчивый род. Пробравшись в горы и поселившись в разных ущельях, березы очень изменились. Чуть ли не в каждом ущелье — новый вид. Правда, потом оказалось, что это всего лишь расы четырех видов. На Памире же оказалось три вида берез — туркестанская, тяньшанская и кривая. Они живут на Тянь-Шане, в Западном Памиро-Алае, но ни на Алтае, ни на Кавказе их нет.

В составе березняков было много видов различного происхождения. Распространенные по всей умеренной части Евразии в расчет принимать не стоило: они не могли указать на исходный пункт миграции. Поэтому я их просто отложил. Сосредоточился сначала на общих с Алтаем. Если березняки пришли на Памир через Алтай, этих видов должно быть достаточно. Их оказалось всего семь. Негусто! Правда, родственных с алтайскими оказалось куда больше, но родство каждый раз надо доказывать, а это не всегда возможно: фактов не хватает. В тяньшанских березняках, судя по литературе, общих с алтайскими видов было больше. Они дошли до Тянь-Шаня, но не смогли добраться до Памира. В язгулёмских березняках больше всего было видов, общих с тяньшанскими. А общих с кавказскими — всего три. Перевес был на стороне Тянь-Шаня и Алтая. Но как оказались кавказские растения среди чужого сообщества? Для ответа на этот вопрос надо было привлекать контролируемое фактами воображение...

Скорее всего миграция началась давно. Наверное, миллиона три лет тому назад, при первом же серьезном похолодании. Иначе сохранилось бы больше общих видов, да и сами березы не так бы сильно изменились. Когда началась миграция берез с севера, в горах Средней Азии уже прижились проникшие сюда до этого с запада растения, которым подходили новые природные условия растущих гор и которые располагались вдоль рек у воды, поскольку климат становился все суше. И часть западных, в том числе и кавказских, растений постепенно вошла в новые для них сообще-

ства березняков северного происхождения. Поэтому в гербарии из березняка и оказались осока и грушанка, растущие на Кавказе.

В общих чертах, наверное, все так и было. Во всяком случае эта модель не противоречит фактам. Но в науке все бывает. Найдёт кто-нибудь (или я сам) в березняках Обиракзоу (куда я в тот раз не попал) какую-либо былинку, и модель может рухнуть. Что тоже интересно.

Интриговали меня также совпадения всяких западных элементов на том западном склоне, с которого мы начали маршруты. И я стал с тех же позиций анализировать результаты маршрута по Язгулёму. Но все было так запутано, что, поведя карандашом по карте, я решил, что после разберусь, а пока надо лезть в Шипадскую щель, которую все равно надо было положить на карту.

Шипадская щель (из дневника, 5—9 августа)

Есть еще северная дорога, по которой из Вамура можно достигнуть Кила-Кхумба в три дня.

И. Минаев

Наутро мы с Рудиком и сезонным рабочим Абдумамадом нагрузились рюкзаками, вышли на тракт, подсели в попутную машину, еще до восхода солнца выпрыгнули в маленьком зеленом кишлачке Шипад и углубились в ущелье, пропиленное одноименной речкой. Речка впадает в Пяндж километрах в пятнадцати от устья Язгулёма.

Странное это ущелье. С боков оно сдавлено крутыми, иногда отвесными стенами. Дно его сложено тем, что с этих стен падает,—каменными глыбами, иногда окатанными рекой, но часто рваными. Меж глыб несется бурная речка. Вдоль нее разрослись ива, береза, облепиха, смородина и богатейшее разнообразие трав. Тропа только угадывалась по мелким обломкам камней, заложенным в пустоты между глыбами. Иногда приходилось протискиваться между колючей облепихой и шершавой стеной ущелья. Потом тропа обрывалась и после коротких поисков обнаруживалась по ту сторону реки. Мостов не было, и приходилось с ходу лезть в реку.

Сначала мы переправлялись по правилам: разувались, надевали трикони на босу ногу, переправлялись,

а там снова обувались в сухое, предварительно вылив из ботинок воду и положив сухую стельку. Но на первых же двух километрах пути пришлось переправляться пять раз, и мы уже просто лезли в воду, не разуваясь, а потом чавкали холодной водой в ботинках. Не успевала эта вода согреться, как подступала следующая переправа. Понятно, что двигались мы очень медленно.

Ближе к вечеру, когда позади было уже двенадцать переправ, воды в реке от тающих ледников прибавилось, и мы никак не могли форсировать в одном месте разгулявшийся поток. После нескольких попыток поняли, что надо ждать утра. Но вокруг не нашлось ни одного клочка суши для того, чтобы раскинуть три спальных мешка. Пришлось вернуться на полкилометра назад. Мешки бросили на крупные глыбы камня, бока ныли, но усталость была так велика, а в мешках было так сухо и тепло после целого дня хождения по воде, что все мигом уснули.

На рассвете мы взяли тринадцатую переправу натошак. Через час вышли к каскаду. Река разбивалась здесь на десятки белых струй, катившихся с перегородившей ущелье морены высотой метров в полтора. Наверное, это было красиво, но мне было уже не до красот. Что-то познабливало. Перекусив перед каскадом, оглядели препятствие повнимательнее. Слева от него была отвесная стенка с когда-то промытым водой, а теперь сухим желобом. По нему непрерывно катились камни. Мы сунулись было под желоб, чтобы обойти каскад слева, но отскочили, исхлестанные мелкими, размером с рисинку и с горошину, камнями. Дождаться больших объемов камнепада не стоило. На правом фланге каскада ничего не сыпалось, но там водные струи текли особенно густо и круто. Решили лезть по самой середине морены, куда и камни не долетали и где воды было чуть меньше, чем справа.

Пошли гуськом. Я впереди, Абдуматад последним. Уцепившись за камень, подтянулся, принял поток воды на грудь, выскочил на уступ, снова подтянулся, снова рывок вверх. И так все время. Рюкзак оставался почти сухим, зато сам я весь вымок до ниточки. И остальные тоже, конечно. Когда мы с Рудиком выбрались наверх, то увидели, что Абдуматад все еще возится у самого подножия морены. При подъеме под струями воды оглядываться нельзя было, и задержку Абдуматада мы не заметили. Видимо, там что-то случилось. Оставив Рудика наверху, я стал прыжками спускаться.

Оказывается, Абдумамад поленился завязать как следует шнурки, и в каком-то месте ботинок сорвало водой. Парень пытался отыскать пропажу в этом водно-каменном хаосе.

Спросил Абдумамада, может ли он подниматься с босой ногой. Он кивнул. Когда все были над каскадом, я предложил Абдумамаду привязать к босой ступне мою спортивную тапочку и двигать в одиночку вниз на лагерь. Тот стал отказываться, утверждая, что всю жизнь ходил в горах босым и это ему хоть бы что. Мою, скромного размера, тапочку он презрительно отверг. Показал на нее:

— Смотри, ты чем больше ходишь, тем подошва тоньше делается, а я чем больше хожу, тем моя подошва делается толще,— и указал на свою ножищу 47-го размера.

Спорить я не стал, тем более что не очень представлял себе, как Абдумамад станет переправляться без нас. Махнул рукой, и мы стали подниматься по щели дальше.

А дальше пошли заросли миндаля, жимолости, потом ущелье расширилось, появились странные сообщества пустынных полынных и луговых зарослей горца. Выше шли сообщества зонтичной ферулы в смеси с томилляровыми степями. На скалах торчали отдельные растения арчи. Я насчитал на ста квадратных метрах сначала семь деревьев, потом двенадцать, потом десять, а потом голова отяжелела, закружилась, и я сел. Ребята удивились. Рудик пощупал мой лоб и даже присвистнул:

— Да у вас же температура ого-го!

Это я и сам чувствовал. Наверное, простудился в ледяной воде. Но деваться было некуда, путь был только вверх. Все это я объяснил ребятам с подробностями и вполне здраво, из чего заключил, что был при памяти. К вечеру вышли в цирк. Так называют расширенную перед гребнем часть долины, обработанную горным ледником. Там же был сложен из камней загон для скота. И малюсенькая кибитка: в ней жил старик. Он не удивился нашему появлению, даже обрадовался. Напоил нас чаем, а меня растер топленым бараньим жиром с примесью какой-то коричневой жижи и посоветовал улечься спать в кибитке, где теплее. Я мгновенно забылся. Утром почувствовал себя чуть лучше, но слабость была такая, что мы решили провести у старика еще денек. Ребята в тот день собирали в цирке гербарий, а я лежал на солнце и пытался унять озноб. Старик сказал, что зря мы шли

по этой щели: они даже скот по ней не гоняют, опасаясь простудить. Я охотно поверил.

— А как же гоняют?—спросил я.

Старик сказал, что скот гонят через Ровхарв, а оттуда через урочище Хой и через перевал. Я обрадовался: не надо снова лезть в мрачную щель, куда и солнце-то не заглядывает и где такая холодная вода. Брр! Спросил старика, где проходил старый путь от Рушана в Калай-Хумб. Уж не через Хой ли? Старик стал долго рассказывать, как «раньше» ходили караваны. Оказывается, по-разному ходили, в зависимости от сезона и активности аскеров (солдат), взимавших налог за пользование навесными тропами. И еще от того, где грабили в то время караваны— у Ровхарва или у Шипада.

Наутро, порасспросив дорогу поподробнее, простились со стариком и пошли на перевал, которого на карте не было. Не отмечены были и притоки Шипада, и его составляющие. Цирк располагался на высоте 4000 метров, перевал имел высоту около 4400. До него было километра три хода по каменистой широкой долине. Мы шли и радовались, что минуем окаянный каньон. И хотя я изрядно ослабел от хвори, тоже радовался и шагал довольно бодро. За перевалом спустились в другой цирк. Людей там не оказалось, пастбища были выбиты, вместо криофитона по склонам серебрились колючетравья. Старик предупреждал нас, чтобы мы не спускались по реке Намоз, так как ущелье там тоже узкое, есть несколько каскадов, а чтобы прошли еще один относительно низкий перевал и вышли в Ровхарвскую щель.

К вечеру спустились к Пянджу. Без приключений, которые надоели. Решили тут же у реки заночевать, так как до устья Шипада, от которого мы начали подъем, было километров пятнадцать, до Матрауна— все тридцать, а меня снова стало колотить. Да и сил ни у кого уже не осталось. Когда мы расположились на ночлег, проезжавшие мимо колхозники сказали, что выше Ровхарва река снесла кусок дороги и ждать снизу попутных машин не стоит. Что ж, событие вполне в стиле «года Змеи»...

Ночью почти не спал: лихорадило. Крепко я все-таки простудился. А утром вышло солнышко и прибыли для нас три лошади. Это председатель колхоза узнал, что я болен, и решил помочь. На одну лошадь загрузили рюкзаки и меня, на другой поехали Абдумад с Рудиком, на третьей—парень, который должен был пригнать лошадей обратно...

Когда проезжали мимо устья Шипада, полностью завершив кольцо, Абдумамад дрыгнул босой ногой, поцокал языком и вздохнул. Перевода не требовалось...

Цветной сон (из дневника, 10—17 августа)

Подумав как следует, мысль излагай,
А стен без фундамента не воздвигай.

Саади

Конечно, высокая температура выматывает. Но она же, случается, обостряет воображение. Пока я валялся в палатке, преодолевая простуду, предметы, над которыми я думал, приобретали удивительную образность. Размышления становились похожими на цветные широкоэкранные фильмы. В одном из таких «фильмов» измученный температурой мозг продемонстрировал стройную пространственную картину, похожую на огромную карту. По ней, как в мультипликации, легко перемещались с места на место разные виды и типы растительности...

...Я видел сухой Памир. Со всех сторон к нему двигались разные типы растительного покрова, как бы пытаясь поскорее оккупировать новую территорию быстро поднимающихся гор. Одни типы вырывались вперед и распределялись по сухим склонам, каждый тип на своей высоте. Они сливались в такие знакомые высотные пояса. «Потоки» других типов растительности, не сумев одолеть сухости климата, по пути мелели, разбивались на «ручейки» и иссякали, так и не добравшись до Памира. Третьи, пользуясь временным улучшением для них климатической обстановки, кое-как добивались до этих гор. Но временное улучшение климата кончилось, и, попав в непривычную для них засуху, «ручейки» проникших сюда типов растительности образовывали маленькие «озерца». Горы росли, становилось все холоднее и суше. Площадь этих «озерец» сокращалась все больше, а их самих становилось все меньше. Сохранились лишь те, которые оказались на благоприятных для них склонах.

Для выходцев с запада—из Средиземноморья, с Кавказа, с гор Средней Азии, лежащих к западу от Памира,—благоприятными оказались именно западные склоны. Там и осадков чуть больше, и режим их выпадения похож на тот, что на родине «пришельцев». Так оказались на западных склонах миндальники,

томилляры, заросли пузырника... У себя на родине они живут на любых склонах, а здесь, на пределе своего распространения, они сохраняются лишь на склонах, обращенных в сторону их родины...

Для «выходцев» с севера — степей, некоторых лугов и зарослей можжевельника — самыми благоприятными на Памире оказались именно северные склоны, где чуть влажнее и не так жарко.

«Выходцы» с юга и юго-запада, например гаммадовые пустыни, сохранились здесь небольшими островками лишь на южных или западных склонах, откуда они как бы смотрят в сторону своей родины и далекой родни на Гиндукуше и Иранском нагорье.

Ну а «иммигранты» с востока? Жившие у себя на родине на плоскогорьях, они и здесь селились на таких же плоскостях. Но если они предпочитали крутизну, то на Памире, как правило, они поселялись на крутых восточных склонах. На них режим осадков был для «иммигрантов» самым подходящим.

Эта подвижная картина складывалась в некое стройное правило: в горах пришлые типы растительности на пределе распространения сохраняются на склонах, обращенных в ту сторону, откуда эти типы эмигрировали. После того как я сформулировал это правило, быстро выздоровел и стал ходить в оставшиеся маршруты, обдумывая эту свою схему с холодной головой. Я отыскивал уже не подтверждения ей, а противоречащие факты.

Я не верю в расхожее утверждение, что исключения подтверждают правила. По моему мнению, к науке этот тезис отношения не имеет. Всякое исключение требует объяснения с позиций, не исключающих сформулированного правила. И если сто фактов подтверждают правило, а один достоверный факт противоречит ему и объяснить это противоречие можно, только отказавшись от правила, значит, сформулировано вовсе не правило. В лучшем случае это тенденция, а скорее всего — просто ошибочное мнение. Таковы законы строгой научной логики.

При таком подходе к делу исключения нашлись. Одни получали удовлетворительное объяснение. Например, те же юганники, о которых уже шла речь. Они на Западном Памире встречаются на всех склонах, а не только на западных, как можно было ожидать в соответствии с правилом. Но здесь, на восточном пределе распространения, юганники обычно формируются на осыпях, где запасов влаги больше, чем на склонах с мелкозёмом. Осыпи же бывают на любых

склонах. Это неплакорные местообитания. Но если юганники оказывались все-таки не на осыпи, а на плакорном мелкоземе, то они непременно были и на западных склонах. Все сходилось.

Другие исключения объяснению не поддавались и в схему никак не лезли. Большинство нагорных ксерофитов — «выходцы» с запада, а пояс нагорных ксерофитов выражен на всех склонах. Вот и противоречие. Правда, тип нагорных ксерофитов связан с рыхлыми грунтами, которые можно объявить нетипичными, неплакорными. Но если так, то весь пояс нагорных ксерофитов надо признать не поясом, а чем-то внепоясным. Можно поискать и другое объяснение, не требующее разрушения всей схемы. Например, такое: этот тип растительности проник на Памир давно, успел измениться по сравнению с исходным типом, и он приспособился к новой среде настолько, что может жить на всех склонах. Чем не объяснение? Но ведь и другие типы растительности изменились под влиянием местных условий, почему же не внести эту поправку и применительно к ним? К тому же не совсем ясно, какие типы растительности пришли сюда раньше, какие позже и в каких первоначальных формах. Нет, уж если выводить правило, сначала надо изучить все досконально, а потом уж формулировать. Словом, опять то же: «после разберемся»...

Разобраться удалось через пару лет. Сформулированное правило вернее было назвать устойчивой тенденцией. Она касалась не только отдельных видов, но и высотной поясности: на склонах часто присутствовала полоса растительности, свойственной тем горным странам, в сторону которых обращен склон. Очень часто, но не всегда. Этим, собственно, тенденция и отличается от правила. Кстати, выявленная тенденция — тоже неплохо.

Работу мы закончили без автомашины. За судьбу хозрасчетной темы можно было не волноваться. Но сезон был в разгаре. Предстояло еще много дел, частично обязательных, а частью просто интересных, хотя на них ни времени, ни средств не отпускалось. Только ради этого интереса и стоило связываться со всей этой многогранной морокой.

Утром 17 августа мы простились с Сафаром, пожелали ему еще сына и уехали: Нияз не подвел, приехал в срок.

Двадцать четыре часа (из дневника, 17—18 августа)

В трех милях ниже соединения Мургаба с Пянжею на правом берегу Пянжи находится главный город Рошана Вамур.

Троттер

В Рушан мы приехали к полудню. В старину поселок называли Калай-Вамар или просто Вамар (Вамур). Он прилепился под отвесными скалами Рушанского хребта над поймой Пянджа. В прошлом это место считалось стратегически столь важным, что здесь построили две крепости.

Одну — очень давно, на скале, и от нее мало что сохранилось. А другую в начале века соорудила на пойме русская казачья сотня, и с тех пор прекратились набеги с левого берега Пянджа. А набеги были, видно, частыми. Об этом свидетельствуют пещеры, выдолбленные в отвесной стенке горы. Говорят, в пещерах прятались во время набегов женщины и дети. В случае опасности обороняющиеся сбрасывали на врагов камни.

Пойма Пянджа возле Рушана широка и зелена. И сам поселок утопает в зелени садов и тополевых насаждений. Сады здесь удивительные. В конце прошлого века академик С. И. Коржинский обнаружил в них пушистую вишню с берегов Желтого моря. А полсотни лет спустя А. В. Гурский нашел в одном из рушанских садов грушу с плодами весом чуть ли не по килограмму. В том же Рушане нашли редкие формы грецкого ореха. Местные садоводы веками совершенствовали породы на клочках садов.

На въезде в Рушан встретили знакомого геолога. Он сказал, что в Рушан пришел вертолет и сам он собирается после обеда лететь на Сарез к изыскателям. Вертолет вернется завтра, а может, и сегодня к вечеру.

— Слушай, мне ведь тоже надо на завал, очень надо,— сказал я.

— Пожалуйста. Подкрепимся и полетим. А что у тебя там за дела?

Я рассказал ему самую суть. На Усойском завале, подпрудившем в феврале 1911 года Мургаб, заложен трансект — огороженная площадка. Ее в 1943 году огородил А. В. Гурский, зарисовал на трансекте группы

поселившихся там растений, потом повторял зарисовки при последующих посещениях завала. А потом и я однажды залетел на озеро и тоже зарисовал. Таким способом документировался процесс зарастания завала, время образования которого было точно датировано. Раз уж случай такой выдался, надо бы и сейчас зарисовать.

Победа, побежали к вертолету. Ребятам я сказал, чтобы ставили лагерь возле взлетной площадки. Пилот оказался знакомым: с Юрием Николаевичем Журавлевым я летал раньше и на Сарез, и к пику Коммунизма.

Взлетев, пошли вверх по Бартангу. Сверху знакомые места узнать было трудно — совсем другой взгляд на территорию. Справа проплыла треугольная стена пика Патхор, слева показались пики Северцова, Революции и Ляп-Назара. Разглядел сверху Рошорвские дашты, до которых когда-то добирался с приключениями, великими трудами и страхами. Потом внизу сверкнула синева Сарезского озера. Я пробрался по лесенке к пилотам, прокричал Юрию Николаевичу просьбу: не может ли он посадить меня на южной окраине завала, а на обратном пути забрать? Но Журавлев решительно замотал головой и повел машину на посадку.

Сели на южном берегу озера, возле большого лагеря изыскателей. Заглушив мотор, Журавлев сказал, что времени для высадки нет, так как «дают плохую погоду». Сейчас загрузимся — и вниз. Вот ведь не повезло!

Я выпрыгнул на прибрежную гальку и стал фотографировать. Потом спросил у Юрия Николаевича, стоит ли мне оставаться здесь до следующего рейса? Тот сказал, что погода — штука ненадежная, но если я располагаю неделей резервного времени, то вполне можно. Но я не располагал и двумя днями. Когда вертолет разгрузили и снова загрузили какими-то ящиками, мы поднялись и через сорок минут снова сели в Рушане. Рейс для меня оказался «зряшным». Вот так и уходит понапрасну время.

В двухстах метрах от посадочной площадки уже стоял наш временный лагерь. Я глянул на часы и решил, что, раз уж так получилось, лучше ночевать здесь. В Хорог ехать было поздновато.

Когда стемнело, Журавлев пригласил меня на уху. Оказывается, на Сарезе изыскатели подарили ему ведро османа, и сейчас маленький домик пилотов насквозь пропах луком, рыбой, перцем и прочими

вкусными вещами. За столом сидело человек пять, как потом выяснилось, изыскателей с Сареза и альпинистов. А второй пилот колдовал над ухой.

— Вот, знакомьтесь,— сказал Юрий Николаевич.— Так сказать, братание извозчиков и пассажиров.

Уха получилась отменная. Когда на столе остались одни косточки, кто-то из альпинистов попросил меня рассказать о Сарезе. Я рассказал о страшном февральском обвале 1911 года, о гибели кишлака Усой, о затоплении кишлака Сарез, об изучении озера. Рассказал об опасениях, связанных с возможным прорывом завала, о целой полемике по этому поводу. Один изыскатель спросил:

— Вы упомянули исследования Шпилько. Кто это? Знаю, что озеро и завал изучали Букинич, Вебер, Ланге, а про Шпилько я не слышал.

Тогда я и сам мало знал об этом человеке. Знал, что это был начальник Хорогского отряда. В 1913 году он организовал экспедицию к месту катастрофы. Об экспедиции тогда писали «Туркестанские ведомости», а в 1914 и 1915 годах в журналах Русского географического общества появились отчеты самого Г. А. Шпилько. Уже в то время он писал, что уровень озера рано или поздно стабилизируется. После этого ученые десятилетиями спорили о судьбе завала, а прав оказался именно Шпилько. Но уже шла мировая война, всем было не до Сареза, и больше о Шпилько я нигде ничего не читал.

...Сейчас, когда прошло много лет, я знаю благодаря одному случаю много больше об этом человеке. Однажды я получил из Москвы письмо с незнакомым обратным адресом. Фамилия отправителя — Шпилько — была мне знакома, но я не мог увязать ее с той давней историей, как не мог бы, увидев на конверте фамилию Менделеев, предположить, что письмо имеет отношение к автору периодического закона. Пробегая письмо, стал вдруг понимать, что оно как раз из того самого далекого прошлого. Письмо было от Ариадны Григорьевны, дочери бывшего начальника Хорогского отряда Григория Андреевича Шпилько. Прочитав одну мою книжку, она нашла меня через издательство. Ариадна Григорьевна Шпилько — геолог, она много путешествовала, а в 1912—1915 годах жила в Хороге. Мы списались пообстоятельнее, и однажды из полученного от нее пакета я вынул пожелтевшие фотографии, сделанные в 1913 го-

ду самим Григорием Андреевичем. Узнал я и о его судьбе.

Было время, когда Памир изучался преимущественно силами русских военных, удерживавших границы от британской колонизации. Ученые редко посещали Памир из-за сумбурной политической и военной обстановки того времени. И сложилась традиция русского офицерства совмещать службу с исследованиями края. История знает много имен офицеров, вложивших свой труд в изучение Памира: Грум-Гржимайло, Громбчевский, Скерский, Венюков, Кузнецов, Серебренников, Назаров, Тагеев, Коржинский, Станкевич, Разгонов, Косиненко и десятки других, оставивших след в литературе о Памире. Среди них имя Григория Андреевича Шпилько занимает достойное место.

Судьба его типична для просвещенного офицера и патриота. Сын крестьянина, участника Крымской войны, он по окончании Военной академии был назначен в штаб Туркестанского военного округа, а в 1911 году — начальником Хорогского отряда. Западный Памир в то время был только что вырван из свирепых лап администрации эмира Бухарского, и от начальника русского отряда требовались большой такт, высокие гуманные устремления и техническая сметка для того, чтобы не только охранять этот край, но и способствовать благосостоянию его народа. Первую электростанцию в Хороге построил именно Шпилько. Это было в 1913 году, когда резиденция эмира в Бухаре освещалась сальными светильниками.

Организованная Г. А. Шпилько в 1913 году Сарезская экспедиция была по тем временам грандиозным предприятием, трудным и опасным. По Бартангу и сейчас-то путь нелегок, а в те времена он требовал известного героизма. Передо мной совершенно желтая от времени фотография: лесенка, ведущая вверх по скале к оврингу (навесной тропе). По сохранившимся очертаниям на фотографии нетрудно оценить меру опасности такого способа передвижения. И по таким вот лесенкам и оврингам к Сарезскому озеру были доставлены и снаряжение, и доски для строительства плота. Его укрепили на турсуках (надувных шкурах) и назвали «Памирецъ». По свидетельству самого Григория Андреевича, плот поднимал груз весом в 100 пудов (более 16 центнеров). На плоту Шпилько сам измерял глубины, изучал берега и завал. Опубликованный отчет Григория Андреевича был первым сообщением об озере, основанным на серьезном научном изучении. Офицер оказался прекрасным исследователем.

Отчет опубликовали в 1914 году. К тому времени сам Григорий Андреевич был уже на западном фронте. Пока воевал, была опубликована еще одна его статья об Усойском завале. Завал находился на Памире, статья вышла в Ташкенте, а автор тем временем сражался в Галиции. Этот географический разброс как бы символизировал наступившую бурную эпоху.

В 1916—1917 годах Шпилько назначают начальником административного отдела Главного штаба армии. В октябре 1917-го он сразу же перешел на сторону революции и был назначен в Штаб Петроградского округа, потом—начальником Штаба обороны железных дорог республики, затем—военным комиссаром в Башкирию. Участвовал в борьбе с Колчаком и Деникиным. В Москве был начальником военного отдела высших учебных заведений, преподавал в Военной академии и Военно-инженерной школе, работал в одном из отделов наркомата. С 1934 года—персональный пенсионер. Умер в 1936 году в возрасте 64 лет.

Строки биографии рассказаны в письмах Ариадной Григорьевной. Читая их, можно представить себе Памир 1913 года, огненные вихри войны и революции, почувствовать пульс молодой республики... Тогда путь Григория Андреевича Шпилько сквозь эти годы будет значительно яснее...

Но все это я узнал годы спустя. А тогда рассказал лишь немного, что было мне известно. Застолье затянулось, и, когда я пришел к нашим палаткам, все давно спали.

Утром проснулся от выстрела. Возле палатки начался гвалт, пришлось подниматься. У палатки лежала окровавленная коза, а возле нее—целый консилиум: знакомый по застолью изыскатель, толстый горластый рушанец и все наши ребята. Ситуация прояснилась через несколько минут.

Оказалось, что дежуривший по лагерю Рудик поднялся чуть свет, заварил чай, а в это время мимо проходил изыскатель. Они попили чаю вместе. Потом Рудик уговорил изыскателя разрешить ему выстрелить из его пистолета: все равно, мол, пора народ будить. Долго выбирал, куда ему выстрелить, потом прицелился в ржавую бочку на пойме. Пальнул, а в это время пасшаяся в стороне коза вдруг рухнула с простреленной шеей. Прибежал хозяин козы, вот тогда-то меня окончательно и разбудили.

— Так я же совсем в другую сторону стрелял,—
ныл Рудик.— Пистолет, видно, кривой попался.

— Сам ты кривой,— обиделся за пистолет изыскатель.

Хозяин настаивал, чтобы мы купили убитую козу. Я счел его аргументы вполне убедительными. Пришлось раскошелиться.

Пока козу обдирали и варили тузлук (мясо в рассоле), взошло солнце. Погода была явно нелетной. Мы быстро позавтракали, сняли лагерь, простились с пилотами и поехали. Я глянул на часы и не поверил им: с момента прощания с Сафаром прошло всего 24 часа. Еще через три часа мы приехали в Хорог.

Разгар сезона



«Троянский конь» (из дневника, 18—20 августа)

Не беспокойся о том, что люди тебя не знают, а беспокойся о том, что ты не знаешь людей.

Китайская пословица

В Хороге меня ждали два сюрприза. Первый—это письмо от *Самого*. Вполне официальное, на бланке и в том административном стиле—одной фразой,—который *Сам* обожал: «В связи с неоднократными письменными жалобами младшего научного сотрудника И. И. Филонова на действия начальника Мургабского отряда Л. В. Гребенниковой Вам предлагается выехать в район работ отряда и разобраться на месте с полномочиями смещений и новых назначений в отряде из наличного состава с последующим оформлением приказом согласно Вашему рапорту (копии жалоб прилагаются)». Должность и подпись. И так, я—«ревизор». Этого мне только не хватало!

«Господа, я собрал вас для того, чтобы сообщить вам пренеприятнейшее известие...» Трудно было придумать что-нибудь неприятнее. Во-первых, некогда. Во-вторых, обе конфликтующие стороны были мне хорошо знакомы, а кого-то из них скорее всего придется наказать. В-третьих, разбираться во всякого рода склоках я не любитель. Как правило, в экспедициях отношения между сотрудниками складываются дружеские, а если где и возникнет конфликт, его стараются ликвидировать общими усилиями, понимая, что нормальный климат в коллективе—это все. И очень

редко конфликт выходит наружу и доходит до начальства. Да еще в письменном виде. Брррр!

Что там в жалобах-то? Стал пробегать глазами машинописные листы. От них повеяло дремучей враждебностью: «низкая профессиональная подготовка... злоупотребление служебным положением... нетерпимость к сотрудникам... нарушения программы... небрежное отношение к имуществу...» И все это с подробностями типа «а я сказал...», «а она сказала...» и тому подобное. От Гребенниковой ни одной бумаги не было, только от Филонова. Получался даже не конфликт, а нападение без обороны. Неприятно. Очень! Ну, насчет низкой квалификации—это чепуха. А остальное придется проверять. Делать нечего.

А второй «сюрприз» стоял тем временем рядом и с интересом глядел по сторонам. Это была студентка Зина, присланная институтом к нам в отряд на должность лаборанта, наверное, в качестве компенсации за доставленную письмом неприятность. Это была плотная девушка в очках с очень сильными линзами.

— Что вы умеете делать, Зина?

— Я умею делать все,—сверкнула она очками.

— Ну, тогда конечно...—растерялся я и, подумав, поручил ей осваивать кухню, а в промежутках—флору.

Бросив все дела, я в тот же день на попутной машине выехал в Мургаб. Шофер был знакомый, разговорчивый, и, пока машина одолевала трехсоткилометровый путь на нагорье, мы обсудили все новости по тракту. В Мургабе я стал наводить справки о местонахождении отряда, район работ которого имел в диаметре километров шестьдесят. Сделал это простейшим способом: подошел к околачивающемуся возле столовой люду, поздоровался и спросил:

— Ребята, где сейчас отряд Гребенниковой работает? Ну, маленькая такая, Людой зовут.

— А-а-а, Люда... Так это тебе сегодня не поспеть, она на Элису стоит, я третьего дня видел. И Вася тоже мимо проезжал...

Прикинул: если ждать утра, а потом еще ехать, то в лагере никого не застану, все уйдут в маршрут, и день пропал. А с другой стороны, до Элису километров тридцать, дотемна не дойти. Там колея, но плохая, машины ходят редко... Ну, авось повезет. А не повезет, так заночую у Салапа Турдакулова, он юрты обычно ставит где-то на полпути. И, развернувшись от столовой, двинулся вниз по долине Мургаба.

Попутных машин не было, и, протопав километров

пятнадцать, уже в полной темноте добрался до юрт. На меня с остервенением кинулись собаки, но из юрты выскочил Салап, разогнал псов и, узнав меня, позвал в большую юрту. О делах в лоб спрашивать здесь не положено, и, пока чада и домочадцы носили из соседней юрты угощение, пока сливали из кувшина воду на руки, пока пили чай и ели мясо, разговор шел о баранах, погоде, комарах, базарных ценах и об этой самой юрте на 72 звена. Ею Салап гордился, каждый раз сообщая, что таких больших юрт на Памире всего четыре, и загибал пальцы, перечисляя владельцев.

Потом уж я сказал, что заночую, а часа в четыре уйду на Элису.

— Зачем пешком? Я мотоцикл купил, отвезу,— сказал Салап.

— Это ты молодец,— похвалил я хозяина за покупку.— Так отвези сейчас. Найдешь палатки?

— Найду. Они там поздно не спят, сухой тал в костре жгут.

Мы вышли. Пока Салап расчехлял мотоцикл и заправлял его из канистры, рассказывал:

— Там девчонка начальник. Нехорошо, когда баба начальник. У них один парень, Игорь зовут, пьет все время, скандал делает. Если начальник мужик, он пьяного мордам бьет, тот слушает, а девчонка бить не может. Вчера приходила, говорила, чтобы я не возил Игорь на Мургаб. А я только раз возил, больше не возил...

Поцокав в знак неодобрения языком, Салап уселся на мотоцикл, я устроился сзади, и мы поехали. Поразмышлять над услышанным я не мог: мотоцикл так трясло, что все у меня ушло в хватательный инстинкт, позволявший каким-то чудом удерживаться на этом виде транспорта.

— Гляди, вон тал жгут,— крикнул Салап.

В километре от нас виднелся костер. Я крикнул Салапу, что отсюда пойду один, может, там спит кто, чтобы не разбудить.

— Хорошо,— согласился Салап.— Как знаешь. А как машина? Хорош?

— Отличный мотоцикл,— похвалил я, протягивая руку.— Рахмат!

Салап развернулся, и без света фар я оказался в полной темноте. Потом привык к мраку, потихоньку пошел. Когда костер был уже совсем близко, услышал гитарный перезвон и молодые мужские голоса, певшие незнакомую мне песню.

Когда я вошел в освещенный круг, песня оборвалась.

— Привет, чего не спите так поздно?

Ребята что-то пробормотали.

— А Гребенникова где?

— Здесь я,—раздалось из дальней палатки.— С приездом. Ты откуда взялся?

Люда вышла, поправляя волосы, и я в который уж раз удивился, до чего же она мала.

— Так чего ты тут оказался?

— Дела. Давай с утра. Где уложишь?

— Иди к ребятам—там просторно и мешок лишний. Есть хочешь?

— Нет, спасибо. Во сколько подъем?

— В пять. В маршрут надо.

— Вот вместе и пойдем. Спокойной ночи.

Отправился на реку, умылся, предложил гитаристу кончать концерт и залить костер, влез в мешок, подумал, что еще утром я был в Рушане и покупал ту дурацкую козу. Потом сокрушенно вздохнул и провалился в сон.

К завтраку Филонов не вышел. Я спросил, где он.

— Почивает, поди, с перепоя,—пояснил Гитарист.

— А в маршрут как же?

— А он не ходит.

После завтрака ушли на склоны Музкольского хребта и весь день работали. Люда понимала, что я здесь неспроста, но ничего не спрашивала, работала спокойно и хорошо. При сумке, фотоаппарате, бинокле, в тельняшке, грубых ботинках и берете, она выглядела несколько театрально, а при ее росте—и чуточку потешно. Но дело она свое знала.

На обратном пути мы отпустили Гитариста и присели на теплый камень. Я протянул Люде письмо *Самого* и приложения. По мере чтения лицо Люды покрывалось красными пятнами. Вернув мне бумаги, она хотела что-то сказать, но стала заикаться, а потом разрыдалась. Вот этого я решительно не могу выносить! Отошел, покурил я, когда Люда успокоилась, попросил ее ответить по пунктам жалобы.

Кое-что отдаленно напоминало то, о чем писал Филонов, но все оказалось не так, все вывернуто, мелочи раздуты, искажены, поданы с формулировками. Главное же, как я понял, заключалось в том, что Люда отказывалась давать Игорю денежные авансы, чтобы тот не пил («злоупотребление служебным положением»), сняла его как-то с маршрута, когда тот был в «переутомленном состоянии» («нетерпимость к сот-

рудникам»). И все, что наплетено в жалобах, в том же роде. Чушь какая-то!

— Чего же он добивается?

Люда пожала плечами.

Когда мы пришли в лагерь, опухший Филонов сидел на ящике и пил из огромной кружки чай. Волосы его были мокрыми, рубаха прилипла к телу — видно, только что выкупался. Поздоровались.

— Допьешь, приходи на берег, я искупаюсь.

Когда Филонов пришел, я показал ему бумаги и попросил объясниться. Из его сумбурного рассказа получалось, что главной причиной всего была Гребеникова, которую приказом назначили начальником на его место. Я поинтересовался, за что его сняли.

— Да принесло весной к нам в комнату *Самого*, когда я спирт переливал. Он отругал, сказал, что я пьян был.

— А был?

— Да нет, я и выпил-то всего граммов пятьдесят.

— Достаточно для рабочего времени. А зачем глупые кляузы пишешь?

— Да не может она начальником работать. Все не так делает. Где надо приказать — просит. Говорю — не слушается, ругаюсь — ревет...

— Чего же ей тебя, пьяного, слушать. У тебя дополнений нет?

Он покачал головой.

— Тогда поедешь со мной.

— Куда?

— На запад. Но увижу раз пьяного — пеняй на себя, я реветь не стану. Утром и поедем. А пока снеси записку Салапу.

Взяв записку, он зашагал вверх по долине. Глядя ему вслед, я думал о том, что тщеславие — страшная сила, что ради даже малюсенькой власти люди подчас делают большие подлости. Вот и этого защемило. Чудак! Как будто карьеру можно делать в горах.

К ужину Салап привез Филонова к лагерю, тут же развернулся и уехал в Мургаб с моей запиской, в которой я просил геологов прислать машину. Надо было спешить: со дня на день в Хорог мог прилететь вертолет, на который я рассчитывал.

Рапорт я сочинил солидный. Зачитал его всем. Мое сочинение восприняли молча, даже Филонов. Прилагался и проект приказа, который позже был подписан без изменений: Филонова с выговором передали в мою команду, Гитариста из рабочих перевели в лаборанты, чтобы он исполнял должность Филонова. Люде добави-

ли одну вакансию рабочего и оставили в должности.

Утром геологи прислали бортовую машину. Прощаясь, Люда протянула Филонову руку. Он неуверенно подал свою и молча полез в кузов. На повороте я увидел весь отряд. С краю виднелась маленькая фигурка Люды. Она сдержанно помахала рукой и зашагала к реке...

Мы не знали, что нас ждет впереди. Не знала тогда Люда, что жить ей осталось всего несколько лет. Не знал и я, что везу в кузове «троянского коня»...

Белое пятнышко (из дневника, 22—27 августа)

Я бы предпочел найти истинную причину хотя бы одного явления, чем стать королем Персии.

Демокрит

Вертолет завис над сазом. (Сазами в Средней Азии называют небольшие пойменные или родниковые травяные болотца.) Пилот боялся садиться: а вдруг увязнут колеса. Поэтому сбрасывать груз и прыгать пришлось метров с полутора. Брызги воды и жидкого торфа после каждого прыжка были вполне достойны здоровенной топи. Когда спрыгнул последний участник «десанта», вертолет сразу «набычился» и пошел вниз по ущелью. Времени оглядывать забрызганные черной грязью лица товарищей и веселиться по этому поводу не было. Надо было срочно перебрасывать выюки на сухое место.

На это ушло минуты три, а через полчаса на шлейфе, сходявшем к сазу, вырос наш трехпалаточный временный лагерь. Еще через двадцать минут мы уже угощались великолепным джарготом (вид простокваши), принесенным гостеприимными чабанами, жившими по соседству. Все складывалось как надо: высота здесь около 4000 метров, ползти до этой высоты по ущелью, в котором не осталось ни одного целого моста, не пришлось. Завтра утром можно начать отработку верхов Шугнанского хребта. Пока все шло по плану. А джаргот был даже сверх плана.

Наутро разбились на группы. Абдумамад остался в лагере, а мы вчетвером — умевшая все делать Зина, Евгений Ризов, сезонный рабочий Султанбек и я — двинулись к водоразделу.

Объясню цель высадки. Она была самой рутинной.

За десять лет до этого я уже побывал в этом ущелье, составлял тогда карту растительности. Но, как говорится, по техническим причинам (повредил ногу) часть пригребневой территории съёмкой покрыть не успел. А потом стали составлять сводную карту, и крохотное белое пятнышко на карте вызвало споры. Одни предлагали вовсе не замечать пятнышка и закрасить его в цвет соседних контуров. Я же утверждал, что в этом окаянном месте растительность совершенно другая, чем на смежных контурах. А Сам поморщился и велел летом все проверить, а осенью докрасить карту. Но летом полетели мосты, в ущелье было не пробиться, потом напоздла работа по Язгулёму, поездка в Мургаб, и, когда прибыл вертолет, я оставил Филонова с Рудиком в лагере камералить, а сам с оставшейся командой прилетел сюда. Короче, наша цель состояла в будничном «залатывании дыры» на карте и ничего особенно интересного не сулила.

...Путь навверх шел по сплошной морене. Тысяч двадцать пять лет назад здесь залегал основательный ледник. Отступив вверх, он оставил мощные нагромождения морен. Шагать по ним было сущим наказанием. Ни одного ровного местечка, куда можно поставить ногу без опаски ее вывихнуть. Поэтому шли не очень быстро. Часа через два добрались до пригребневого озера. Оно тоже было результатом отступления того же ледника: конечная морена подпрудила талую воду, и над ущельем нависло озеро. За ним перевал 4496 метров. Чуть ниже перевала еще лежал снег.

До этого места растительность была положена на ту старую карту, и мы только проверяли ее. Между нагромождениями морен отцветал лук. Его было так много, что местами ложбины от обилия соцветий приобретали кирпичный оттенок. У озера расстались. Зина с Султанбеком пошли собирать в гербарий все, что встретится в окрестностях озера, а мы с Ризовым свернули на север, к перевалу 4600 метров, чтобы выйти в верховья соседней щели, где и располагалось то самое белое пятнышко на карте. Встречу назначили вечером в лагере.

В однодневные маршруты ходить приятно. Не надо нести на себе спальные мешки, запасы продовольствия, примус, палатку. На этот раз мы решили сделать бросок вообще налегке. Сунули в карманы штормовок по паре сухарей да по горсти сахара, взяли ледорубы и пошли. А вместо гербарной папки я сунул в карман пластиковый пакет: если встретится что-нибудь интересное, за день в пакете находка не

подсохнет. Хорошо шагаются в однодневном маршруте!

Через час мы уже были на перевале. Еще через полчаса почти закончили спуск к «белому пятну». К моему удивлению, оно действительно оказалось белым. Все верховье ущелья было завалено снегом. Мы увязли в снежной толще. Пока ноги утопали в рыхлом снегу по колено, идти еще можно было, но когда глубина увеличилась до метра, мы быстро выдохлись.

— Стоп. Так не пойдет. Давай выходить на склон. Не ботаническое это дело — снег ногами мерить.

И мы свернули к склону. Снежник плавно переходил в каменистую осыпь, и мы собирались спокойно выбраться за его пределы. Но метрах в пяти от края снежника мы сразу оба провалились в снег по грудь. Ноги уперлись во что-то плотное, ботинки наполнились ледяной водой. Разгребая снег, мы рывками пропахали к склону глубокие борозды, выбрались на камни и, поругивая коварный снежник, стали переобуваться и выжимать мокрые носки. Потом огляделись.

Пропаханные нами борозды рассекали совершенно рыхлый снег. Почему же мы не проваливались раньше, пока не дошли до края снежника? Я обулся и снова полез в снег, расчищая путь к тому месту, где мы провалились. Ризов удивился такому моему поведению, но потом тоже погрузился в снег и стал мне помогать. Минут через сорок была готова траншея от склона в глубь снежника метров на шесть. Стенки траншеи мы зачистили ледорубами, и все стало ясно. Мы провалились в толщу свежего снега, выпавшего в этом году. Старый снег внизу был отделен от свежего коркой наста. Вот в этот наст мы и упирались, пока шли далеко от края.

Продолбили слой старого снега. Под ним обнаружилось еще несколько слоев с корками наста, отделявшими разновозрастные толщи снега. Дальше снег уплотнялся, да и сил на эту работу уже не оставалось. И времени. И так провозились около двух часов. Но зато кое-что я понял. Снежник в верховьях ущелья нарастал от года к году. Следовательно, снежное поле не было результатом какого-то особо сильного снегопада в этом году, оно росло, откладываясь слой за слоем. Ожидать в верховьях этого ущелья какой-нибудь растительности не приходилось.

По крутому осыпному склону идти вообще было невозможно: камни выворачивались из-под ног, мы все время падали, чертыхались и только теряли время. Поэтому мы снова вернулись на снежник и еще с час месили его, пробиваясь вниз по ущелью. Когда на

высоте 4100 метров снежник кончился, мы, мокрые и обессилевшие, уселись на камни и съели все, что у нас с собой было. Я глянул на часы: время близилось к пяти вечера. Солнце стояло высоко, но нам предстояло одолеть еще один перевал, с которого уже можно спуститься к лагерю. Но для этого надо сначала спуститься по ущелью на полкилометра, а потом уж лезть вверх.

Пока шли, я все думал о странном скоплении снега в этом ущелье. Ведь оно точно такое же, как и параллельное ему, по которому шли утром. И высота верховьев одинаковая. Но там ниже 4400 метров не было ни снежинки, а здесь снег накапливался годами. Непонятно как-то...

Солнце закатывалось где-то справа, а мы все еще не добрались до перевала. Высохнув снаружи, мы взмокли от пота, и, когда тянул холодный ветерок, становилось зябко. Под ногами появился ветхий коврик растений — криофитов, а до перевала было еще метров триста подъема. Ризов моложе меня лет на пятнадцать, и он шел ровно, без признаков усталости. Я же еле переставлял тяжелые трикони и все время останавливался. Но особенно-то задерживаться было никак нельзя: до темноты надо было выйти на спуск, а то, без теплой одежды, мокрые, мы на этой высоте ночь не протянем. И я снова и снова переставлял ноги.

Ускорить подъем помогло неожиданное обстоятельство. Под перевалом в цирке паслись быки. Они, видно, кормились здесь без присмотра все лето. Когда мы проходили мимо стада, одному из быков я чем-то не понравился. Он наклонил рога и боком двинулся на меня. И откуда силы взялись?! За несколько минут я бегом выскочил на перевал. Вот это стимул!

Наше ущелье внизу было уже в полной темноте, а здесь, на перевале, еще брезжили вечерние сумерки. С досадой оглянувшись на тонувшее во мраке стадо быков и стараясь не замечать ехидной улыбки Ризова, я пошел вниз. Мы довольно быстро стали спускаться во мрак. Было уже так темно, что ноги ставили наугад. Потом внизу засветился огонек. По мере спуска он рос, и мы увидели, что это костер. Еще через час мы спустились к нашим палаткам. Султанбек палил костер из полыни и кизяков, поливая ненадежное топливо бензином. Оказывается, нас уже собирались поутру искать... Спал я в ту ночь как младенец.

Утром стало ясно, что на вертолет надежды нет: гребни гор закрыло облаками. За завтраком я рассказал об итогах маршрута. Он был кольцевым: два

перевала да снег, всего километров тридцать. А ботанический результат равен нулю. Белое пятно так и осталось белым, только на этот раз оно означало на карте снежник, а не «дыру» в ботаническом окружении. Все-таки хоть что-то...

— Но почему там много снега, а здесь его нет? — спросил Ризов.

Об этом я уже успел подумать, проснувшись утром. Взял бумагу и набросал схему.

— Смотрите, вот это горный узел. Обозначим ущелья номерами. Наше — «один». Ветер здесь всегда с запада и снизу: общая плюс горно-долинная циркуляция. Наша щель не имеет препятствия с востока, тут плавный перевал 4496 метров, через который снег переносится в ущелье «три». Там я был с десятков лет назад: на склонах масса кобрезиевых лугов, значит, влажно. А в нашем — только луковники на морене, сплошного травостоя нет, значит, здесь суше. Ущелье «два» ограничено с востока пятикилометровой стеной, перед которой воздушный поток глохнет. И откладывается снег. Там стена, помните, какая крутая? В нашей щели снеговая линия лежала на высоте 4400 метров, это у озера, а в ущелье «два» — на высоте 4100 метров, это где мы закусывали. На 300 метров ниже, значит, там влажнее.

Смотрите дальше. Ущелье «четыре» суше, чем первые три: с запада оно ограничено стеной. Но часть снега все же переносится метелевым забросом, и в верховьях ущелья «четыре» имеются леднички, питающиеся занесенным метелями снегом. Эти леднички есть на карте. А ущелье «пять» — самое сухое, оно закрыто почти со всех сторон высоченными хребтами. Я был там как-то: растительность совсем скудная. А ущелье «два» наветренное, да еще с препятствием на востоке, вот там снег и откладывается: я его пунктиром отметил. Чистейшая аэродинамика. Ясно?

— Ясно, но почему на карте нет этого снежника?

— Думаю, что он был и раньше, но был меньше размером, и в масштабе карты им пренебрегли, сочли, что к концу лета он растает. Вспомните: возле озера снег лежит совсем близко, а у меня есть фотография десятилетней давности, и снега на ней совсем нет. Значит, за эти годы были снежные зимы и снег в ущелье «два» скапливался слоями. Снежник рос и заполнил все верховье. А потом наступят малоснежные годы, снежник начнет сокращаться. Все дело в ритмике климата и в особенностях местной циркуляции. Кстати, эта ритмика влияет и на продуктивность

травостоев: во влажные годы здесь урожайность трав всегда выше, чем в сухие...

Подошел чабан, поздоровался, сел, взял протянутую ему пиалу и молча стал прихлебывать чай. Выдержав приличествующую случаю паузу, спросил, далеко ли мы вчера ходили. Я рассказал.

— О-хо, за один день. Трудно.

— А тебя я помню,— обратился он ко мне.— Ты здесь десять лет назад был, молодой был, сейчас седой, а все ходишь.

Я пожал плечами. Потом чабан сказал, что снизу пришел парень, говорит, что по «снежному мосту» сегодня еще можно пройти, но завтра мост может «кончиться». Информация была важной. Мы мигом собрались, распрощались с чабаном, загрузились и пошли вниз. Запрудивший реку остаток снежной лавины с пропиленным водой тоннелем («снежный мост») еще держался, и мы успели пройти его. На ночлег остановились уже в тепле. Палатки решили не ставить. Когда стемнело, начали покусывать москиты. Заснуть мешала и выползшая из-за хребта луна. Я лежал поверх спального мешка и думал... Ходили, пахали снег, рвали сердце на склонах, и почти все зря. Как было белое пятно на карте, так и осталось. Только с другим смыслом. Любопытно, правда, с динамикой снегоотложения получилось. Надо бы свериться с метеорологическими данными за последние пятнадцать лет. И если все окажется так, как предполагал, то для аналогичных ситуаций можно построить принципиальную схему увлажнения верховьев ущелий, сходящихся у водораздела... хотя бы качественную схему для начала. А от нее можно и на растительность выходить, на кормовую базу... Похоже, вверху где-то резко возрастает сумма осадков. Надо посоветоваться с метеорологами... и с гляциологами тоже. Это их епархия. Они, возможно, умеют рассчитывать осадки по косвенным признакам...^{*} Впрочем, растительность реагирует не на осадки, а на увлажнение: осадки минус испаряемость... Надо посчитать все как следует. Может получится очень интересно... Черт его знает, что может получится, но интересно...

Сел, закурил. Лето явно движется к концу. Еще месяц-полтора — и надо двигать вниз. Холодает. Вот и москиты притихли. Месяц назад они в это время жарили бы ого как, а сейчас покусали и сникли. Холодно.

Полез в мешок, но опять не спалось... Надо бы положить значения абсолютных высот и коэффициен-

тов увлажнения на ординатную сетку. Очень интересно может получиться...

Погружаясь в сон, представил себе возвращение домой: ванна, газ, телевизор, книги... и Она... Я бы подарил ей все цветы Памира... если бы это не нарушило экологического равновесия... Интересно, можно ли рассчитать зависимость между осадками и влажностью корнеобитаемого слоя почвы?..

Три ЧП (из дневника, 3—23 сентября)

Тенги есть слово, которым обозначают путь необыкновенно трудный, или узкий проход в горах, где можно двигаться только поодиночке...

Бенедикт Гозс

Постепенно работа в Вахане вошла в тот деловой ритм, при котором уже не задумываются над деталями: каждый знает, что, когда и где ему делать. В 5 утра начинала гудеть паяльная лампа, в 6 часов — завтрак, в 6.30 — выход в маршрут, перед темнотой — возвращение, ужин, подготовка к завтрашнему маршруту, в 21 час — отбой, и самое позднее еще через час все засыпали.

Сохранению ритма способствовала и стандартная планировка лагеря. Это мое изобретение. Где бы лагерь ни ставили, расположение палаток было всегда одинаковым. Никакой фантазии. И внутри палаток общего пользования — столовой, хозяйственной, штабной — «интерьер» был всегда одним и тем же. И если нужно что-то достать, никаких размышлений о том, где искать нужную вещь, не возникало: все находится на своих, всегда одних и тех же местах. Постепенно расстановка вещей в жилых палатках тоже приобретала стабильность, уже без указаний, просто под влиянием стиля. Педантизм? Да, но вполне оправданный. Все это экономило время и нервы.

Филонов попытался было внести в нашу размеренную жизнь свой порядок, в котором просвечивала романтика, но у него не было деловых преимуществ. И мне не пришлось даже вмешиваться. Все так привыкли к единой норме, что попытки Игоря изменить ее ни к чему не привели. Если он выбирал себе для палатки какое-то место, ее все равно ставили там, где положено. Если он бросал гербарную сетку посреди лагеря, Султанбек вздыхал и молча подвешивал ее на нужные

растяжки. Не давали Игорю и просыпать: дежурный через каждую минуту напоминал ему, что завтрак остынет. И так далее. Очень скоро Игорь втянулся в общий ритм. О его конфликте в Мургабе никто, кроме меня, не знал, и он стал совсем своим. Что и требовалось.

Полевик он опытный, и ему поручались самостоятельные маршруты. Он выполнял их как положено. Правда, он был начисто лишен воображения, но я считал, что моего хватало на всех. Работал он как производственник, а не как ученый. И ладно: материал он поставлял вполне добротный и постепенно становился надежным помощником.

Когда предстоял сложный маршрут, мы шли все вместе. Так было и в тот раз. Мы уже продвинулись с работой вверх по Пянджу, и наш лагерь стоял возле кишлака Ямчинг. Маршрут планировался кольцевой, трехдневный: вверх по реке Ямчинг, потом по ее составляющей — реке Чан, оттуда на перевал, в соседнее ущелье Тогуз, вниз по нему до Пянджа и обратно в лагерь. Конечно, с остановками и радиальными заходами в стороны.

Для такого похода нужен был выючный транспорт, и накануне я отправил Филонова в кишлак с наказом арендовать трех ишаков. Он вернулся не только с ишаками, но и с погонщиком. Имени его я не помню и буду впредь называть его просто Погонщиком. Он был хозяином этой скотины и не соглашался отпустить своих бесценных ослов без надзора. Погонщику надо было платить, а денег на оплату дополнительного рабочего уже не оставалось. Тогда Филонов предложил оформить хозяина в качестве четвертого ишака. Предложение было циничным, но деловым, и я сговорился с Погонщиком о цене. Обратил было внимание на блестящие глаза Филонова, но меня отвлекла одна ишачка, брюхо которой показалось мне подозрительно большим. Погонщик успокоил меня, объяснив, что скотина обожралась люцерной, вот и раздуло. А потом я забыл и о глазах Игоря.

Рано утром наш маленький караван двинулся вверх. Мы шагали налегке, и это позволяло спокойно работать. На маршруте я шел последним, так как все время останавливался, делал пометки в дневнике и на карте или собирал гербарий, а потом нагонял караван. Филонов шел впереди, за ним — ишаки и Погонщик, потом Султанбек, а Рудик держался ближе ко мне и при надобности помогал. Этот порядок следования сохранялся и на следующий день, и на третий. Упоми-

наю это для лучшего понимания дальнейших событий.

Строго говоря, перевала между долинами Чан и Тогуз не было. Точнее, там не было тропы. Поэтому, когда после второго ночлега мы стали подниматься на водораздел, я поменялся с Филоновым местами. Мы были готовы в любой момент, если подъем окажется ишакам не под силу, перевьючить груз на себя, а животных с Погонщиком вернуть по старому пути. Но решать, перегружать или нет, надо было мне, и я пошел ведущим.

Подъем был трудный и крутой. Я нарочно шел зигзагами, чтобы каравану по серпантинной трассе легче было подниматься. Потом склон стал положе, и мы вышли на водораздел. Как ни спешишь, а на самом верху всегда остановишься и оглядишься. И отдохнуть надо. Мы остановились.

Высота 4720 метров. На юге красиво скалил «зубы» гребень Гиндукуша. До него совсем близко. А за ним — верховья Инда, леса из падуба, гималайских кедров... Это по литературным данным: я в Пакистане не бывал. На востоке вздымается массив Снежная глыба в Ваханском хребте. Это Афганистан. За ним, на границе между Китаем и Индией, — Каракорум. И совсем близко от нас видны пики Маркса и Энгельса с ледниками и отвесными стенами. Район знакомый, исхоженный. А за этими пиками начинается Памирское нагорье, совсем уж родное... Вся география перед глазами.

Снизу посвистывал ветерок. Ветер Азии! Он свистел над Афганским Бадахшаном, над Индией и Пакистаном, над Таримом и Памиром и теперь приятно охлаждал наши облупленные лица. А может, и не тот это ветер, а какой-нибудь местный. Все равно приятно...

Эти лирические размышления прервал ишачий рев. Пузатая ишачка легла под грузом на щепень и... стала рожать. Вот это ЧП!!! Ругать Погонщика за обман было некогда. Мы мигом развьючили роженицу, и вскоре на свет появился мокрый, дрожащий от холода, очаровательный ослик. Его завернули в обрывок брезента, и только тогда я сказал Погонщику все, что я о нем думал. Цитировать не стоит. Погонщик вяло оправдывался и косился на Филонова. Тот стоял отвернувшись. Все это мне очень не понравилось, надо было как-то выпутываться из положения.

Груз с ишачки распределили между собой. Подгрузили и других ишаков. Но бедняга роженица и без груза еле стояла на ногах. Поскольку младенец ходить

еще не мог, Погонщик предложил оставить его на перевале: «пусть подышает». Но я разозлился на него, взял ишачонка на руки и пошел вниз. Постепенно ноша стала оттягивать руки. К тому же из-за свертка не видно было, куда ступать. Филонов стал посмеиваться и цитировать стихи Маршака про старого и молодого осла. Тогда я вручил сверток ему, и он умолк. Так с ним по очереди и несли ишачье потомство. И чертыхались.

При такой ситуации мы с Игорем оба оказались в хвосте каравана, а в авангарде шел Рудик. Потом прорезалась какая-то тропка. Судя по многолетним растениям, поселившимся на тропе, по ней давненько не хаживали. Но она вела, становилась все заметнее. Рудик счел свою роль ведущего выполненной, быстро оторвался ото всех и ушел далеко вперед. Потом тропа повела резко вниз, в щель. Ишаки шли уже без ведущего: за одним шагал Погонщик, за другим — Султанбек, затем брела все время оглядывающаяся роженица, а в конце — мы с Филоновым и новорожденным. Именно таким был порядок следования на спуске...

Постепенно тропа сузилась. Слева оказался конгломератный откос метров на 400, а справа — крутая конгломератная стенка. В какой-то момент лидирующий ишак смело свернул влево... Собственно, сам я этого не видел, только услышал крик Погонщика. Положив сверток с осликом на тропу, я кинулся на крик, но развернувшаяся навстречу своему чаду ослица загородила путь. И в эту секунду передний ишак молча покатился с обрыва, а вслед за ним с криком закувыркался и Погонщик. Подняв пыль, оба они скрылись из глаз где-то внизу...

Наконец мне удалось вырваться вперед. Султанбек держал своего осла за хвост, и оба они глядели в пропасть. По откосу еще стелилась пыль.

— Как это случилось? Ну говори же!

Запинаясь, Султанбек сказал, что передний ишак вдруг свернул влево, Погонщик хотел удержать его, а сам Султанбек не мог добраться к нему на помощь из-за ишака, загородившего путь. А потом оба — и груженный ишак, и Погонщик — сорвались вниз.

Я закричал изо всех сил, но снизу никто не отозвался. Стали кричать и остальные, но на крик лишь вернулся ничего не знавший Рудик... Потом мы долго лазали по этому откосу. Разбившегося насмерть ишака нашли на дне щели, у самой реки. А Погонщика позже обнаружили на уступе откоса. Он сидел весь

изодранный и качал, как ребенка, сломанную левую руку. Погонщик был в шоке и терпеливо перенес и спуск к реке, и накладку шины на открытый перелом. Потом он так же молча шел до самого Пянджа. О работе никто не думал, все были напуганы и... перегружены. Султанбек нес два рюкзака и ишачонка в придачу, а Филонова даже не видно было под кладью. Скорбный это был путь.

У Пянджа я проголосовал попутной машине и через два часа сдал Погонщика в районную больницу. Ему вправили кость, загипсовали руку, зашили на нем еще несколько обнаруженных разрывов и уложили.

Утром я снова пошел в больницу. От еды Погонщик еще отказывался, но уже заговорил. И я узнал кое-что любопытное. Оказывается, тот ишак-самоубийца был просто слепым. Погонщик хотел заработать и скрыл это. Как и деликатное состояние ослицы. А чтобы задобрить Филонова, догадавшегося про ишачку, Погонщик, по его словам, «мало-мало водка давал». Про слепого же осла Филонов не знал. На маршруте Погонщик пустил слепого за ишачкой, а потом уже следовал единственный нормальный осел. Когда же ишачка выпала из порядка следования, а Рудик убежал вперед, Погонщик стал особо опекать слепого, но замечтался где-то, и вот...

Потом я писал акты на списание имущества. Счета, по которым выплатил условленную сумму Погонщику, а также рассказ самого погонщика записал, он все это подписал, подписи заверили в больнице, и у меня оказался ворох не только нужных, но и перестраховочных бумаг.

Эта история кончилась тем, что Филонов получил еще выговор, уже строгий. Сам Филонов сказал, что не получил квалификации ишачьего гинеколога, и был уверен, что на один маршрут ослицы хватит.

— А зачем водку пил? — кричал ему Султанбек.

Он все порывался проучить Филонова наиболее доходчивым способом, но такого удовольствия я ему не мог доставить. Не хватало нам еще драки!

Погонщик вернулся домой через неделю, сказал, что будет дома пить мумиё и быстро поправится. А потом мы снялись с места. По пути в Ямчинге я зашел проститься с горемыкой Погонщиком. Возле кибитки паслась ишачка с пушистым серым симпатягой осликом. Он подрос, и сейчас нести его было бы куда труднее...

Став лагерем возле Зонга, мы продолжили работу. Но случилось новое чрезвычайное происшествие...

Однажды ночью в лагере начался пожар. Загорелась палатка Филонова. Услышав его крик, все выскочили наружу, и к этому моменту подгоняемое ваханским ветром пламя перекинулось на хозяйственную палатку.

...Видели ли вы, как горят хорошо натянутые сухие палатки? Страшное это зрелище. Палатка сгорает моментально, будто сделана она из киноплёнки. С шипением. Пламя создает внутри палатки какую-то особую турбулентцию воздуха, способствующую пожару: лохмотья брезента с гудением втягиваются внутрь — «ффр-р-р-шшш» — и вместо палатки полыхают опорные колья и груда содержимого. Несколько секунд — и все кончено...

Увидев пламя, я изо всех сил дернул опорный кол своей палатки и повалил ее, после чего кинулся к Филонову. Но Абдумамад уже свалил его в песок и катал там, гася пламя. Остальные тоже действовали молча и оперативно: Рудик валил палатки, Султанбек цеплял ледорубом и вытаскивал из сгоревшей хозяйственной палатки горящие ящики, после чего засыпал их песком, благо песка вокруг сколько угодно. Зина уже бежала от реки с ведрами... Через пять минут пожар был ликвидирован. Потери: у Филонова ожоги руки и ноги второй степени, пострадала ящичная тара, часть капроновых веревок, два спальных мешка, пачка гербария и мелочь из личных вещей.

Когда после перевязки Филонов сказал, что чувствует себя сносно, я подумал, что отделались мы сравнительно легко. Могло быть хуже. Я знавал случаи гибели людей от таких вот палаточных пожаров...

Пока устанавливали уцелевшие палатки, разворачивали для Филонова запасную, пока сооружали из оставшегося целым брезента подобие хозяйственной палатки, забрезжил рассвет. Спать никто не хотел. Зина стала готовить завтрак. Султанбек заправлял паяльную лампу бензином из канистры, зарытой в песок вдалеке от лагеря. Посмотрев на нее, я вспомнил, что спирт в хозяйственной палатке тоже хранился в канистре. Там было литра четыре. Во время пожара спиртовые пары должны были взорвать канистру. Но взрыва не было. Почему? И почему, кстати, Филонов выскочил среди ночи из горящей палатки одетым?

Среди гари на месте сгоревшей хозяйственной палатки разыскал покрытую окалиной канистру. Она была открыта, резиновые прокладки выгорели. Это и

предотвратило взрыв. И хорошо, что предотвратило, но кто открыл канистру? Закрывается она туго, сама не откроется. Чья-то небрежность? Порывшись среди обгорелого хлама на месте палатки Филонова, разыскал там осколки бутылки, консервную банку, служившую, видимо, пепельницей, кружку и... почерневшую жестяную воронку... Та-а-ак!

Влез в новую палатку Филонова. Тот лежал поверх спального мешка и курил.

— А ну дыхни.

— Что-о? — возмутился Игорь.

— Дыхни, говорю тебе.

Филонов отвел глаза и робко дыхнул. Этого было достаточно.

— И давно ты казенный спирт посасываешь? — спросил я, выкладывая на новехонький спальный мешок обгорелые улики.

Глянув на них, Филонов рассказал все. Ночью тайком, нацедив в очередной раз «горючего», он забыл закрыть канистру. А у себя в палатке опьянел, не заметил, как пролил в темноте немного спирта, а когда закуривал, спирт вспыхнул... Он успел бы выскочить невредимым, но, делая недоброе, на всякий случай застенул палатку изнутри и, пока выбирался из нее, обгорел...

Когда я вылез наружу, рядом с палаткой стоял весь личный состав. Все все слышали.

— Ну, что скажете? — спросил я.

И началось незапланированное собрание. Решено было, причем единогласно, отправить Филонова в институт с рапортом о его увольнении и с отнесением убытков на его счет. Рапорт и решение собрания вместе с актами на списание имущества я отправил в институт. А через день уехал и сам виновник происшествия. Отношение к его отъезду довольно образно сформулировал Рудик:

— Будто скорпион под рубашку забрался, а теперь его вытряхнули. Лафа!

Больше я Филонова никогда не встречал. Его уволили. После отъезда Филонова я мог только одному радоваться: сумасшедший сезон — первый полевой сезон «года Змеи» — подходит к концу. На днях возвращаемся в Хорог. Скорее бы...

Памирцы (отвлечение)

В этом царстве узких проходов, неприступных мест много, и вражеских нападений народ не боится.

Марко Поло

Когда вернулись из Вахана в ботанический сад на базу, я обнаружил, что в моей комнате на койке кто-то спит, завернувшись с головой в мое одеяло. Ну и ладно, стало быть, негде больше человеку прилечь. Прикрыв дверь, я пошел ставить вместе со всеми на окраине сада лагерь. Потом долго возились с хозяйством и разборкой гербария. Перед ужином я вспомнил, что у меня в комнате должна быть пара банок консервированного сыра. Объяснил Султанбеку, где разыскать банки. Через десять минут он вернулся с консервами и с заспанным Мирзобекком. Оказывается, это он спал в моей комнате. А я и забыл о госте.

Мирзобек — охотник. Вернее, он колхозник, но часто и успешно охотится, чем и известен. Живет на Шахдаре. Мы не виделись с прошлого года, но я не стал спрашивать, что привело его ко мне: захочет — сам скажет, а не захочет — значит, не мое это дело. Расспросил его, как положено, о здоровье домочадцев. Пока говорили, поспел ужин. Увидев, что расстилают дастархан, Мирзобек пошел в дом и вернулся со здоровенным мешком. Стал доставать оттуда лепешки, крут (местный сыр, скатанный шариками), вяленую козлятину, бидон с джарготом, бидон с медом, бурсаки (колобки из крутого теста), что-то еще. Сказал, что гостинец от его брата Андалиба, а козлятина — его охотничий трофей.

— Спасибо. А по какому случаю все это?

Мирзобек сказал, что у Андалиба был той (пир): отец разрешил ему отделиться и построить свой дом. Узнав, что Мирзобек едет в Хорог, Андалиб и послал мне гостинец, так сказать, «сухим пайком» с пира.

Надо заметить, что Андалибу — колхозному шоферу — лет сорок. У него жена и восемь детей. И у Мирзобека семья душ десять. Но все они — человек двадцать пять — жили под одной крышей в доме отца. Раньше там же жил и старший брат с семьей, но ему несколько лет назад отец разрешил отделиться. А сейчас удостоился такого разрешения и средний брат. Вот на радостях и пир, и гостинец. Младшему же, Мирзобеку, надлежало жить с отцом, пока тот жив, и

можно не сомневаться: старику будут обеспечены искреннее уважение, безукоризненная почтительность и полный уход.

Трудно представить себе, чтобы у нас в городах самостоятельный сорокалетний семейный многодетный мужчина терпеливо ждал разрешения отца на отделение, не давая ему даже намеком понять, что пора бы уж. Такой намек был бы совершенно недопустимым проявлением неуважения к отцу. Тогда Андалиб сам себя уважать перестал бы. Отец — это отец, он стар, а значит, мудр, и ему лучше знать, когда разрешать сыну строить свой дом. А без уважения к старшим ни один дом стоять не будет. Все держится на уважении к старшим. А уж к отцу — особо. Семья — это очень прочная и устойчивая система.

Домострой? Да, пожалуй. Но без такого укрепления семьи замкнутые в своих долинах западнопамирские племена просто не выжили бы. И без многого другого тоже...

Западный Памир — это настоящий этнографический музей. Здесь около 90 тысяч местных жителей. Если глянуть в материалы переписи, то окажется, что все они записаны как «таджики». Этнографическая наука обобщенно называет это население «припамирские народы». Но если спросить местного жителя, кем он сам себя считает, то ответ может быть самым разным. Старики те точно укажут, что жители долины Ванча — это настоящие таджики (хотя этнография придерживается на этот счет другого мнения). А жители долины Язгулёма — это «язгулёмцы». А те, кто живет между Бартангом и Шахдаринским хребтом, — «шугнанцы», наряду с которыми по языку отличают «рушанцев», «бартанцев», «орошорцев», «хуфцев». Жители долины Пянджа между Ишкашимом и Наматгутом иногда обозначаются как «ишкашимцы». А по верхнему течению Пянджа живут «ваханцы». Что ни долина, что ни ущелье или даже кишлак, то «народность».

А молодые люди, обобщая всю эту этнографическую пестроту и отражая реальное смешение в наше время разных народностей Западного Памира, говорят: «Мы — памирцы». Но в этнографии такого термина пока нет.

Так кто же они — памирцы? На этот вопрос не ответили пока и десятки томов специальной литературы. Вернее, ответили, но по-разному. Достоверно установлено пока довольно мало. Выяснено, что на Восточном Памире люди жили (или временно приходили туда охотиться) еще 9,5 тысяч лет назад. Доказано, что,

когда в 3—2-м тысячелетиях до нашей эры на Западный Памир пришли предки древних иранцев, здесь уже жили люди, и это были наверняка не потомки древних восточнопамирских охотников. Известно также, что в V веке нашей эры на Западном Памире этническая картина уже была близка к той, что застали исследователи в предреволюционное время. И это, наверное, все, что можно считать достоверным.

А дальше идут предположения и разные толкования лингвистических, антропологических, археологических, этнографических и других материалов. Их очень много. И ответов на главные вопросы — откуда пришли сюда предки нынешних памирцев и кто они такие? — тоже много. Одни специалисты доказывают, что предками «памирцев» были жители Парфянского царства, мигрировавшие после его распада на восток. Другие приводят доказательства в пользу смешения горных и равнинных предков, в результате чего сформировался современный антропологический тип памирцев. Третьи предполагают, что население Западного Памира преимущественно восходит к древним степным кочевникам. Точек зрения так много, что все неясно. Очевидно лишь, что в долинах Западного Памира в течение по крайней мере 5 тысяч лет обитает европеоидное население неясного происхождения.

А языки? Ведь они должны же указать на какие-то истоки? Но в том то и дело, что языков на Западном Памире великое множество. Ныне почти все памирцы знают таджикский и русский языки, но у себя дома говорят на своих родных языках, очень разных. Правда, все эти языки восходят к древнеиранскому праязыку. Из него со временем выделились персидский, осетинский, афганский и многие другие языки, в том числе памирские — ишкашимский, ваханский, мунджанский, язгулемский и группа близкородственных языков, которую языковеды условно называют «шугнано-рушанская группа», в ней не менее пяти своих языков и наречий.

Но все эти иранские в основе языки — пришлые. Они наслоились на язык народов, живших здесь до прихода древних иранцев. И этот «погребенный» язык как бы «просвечивает» сквозь древнеиранское «покрывало». Следы этого «просвечивания» хорошо различают специалисты.

Как же могло получиться, что на сравнительно небольшой территории сосредоточилось так много народностей и языков? Дело в том, что до постройки автомобильных дорог (а это всего 1932—1934 годы)

западнопамирские долины были накрепко изолированы друг от друга и от окружающего мира хребтами, принадлежностью к разным уделам, религиозными различиями. Люди общались преимущественно с жителями своей же долины. Вот исходные языки и «варились» в разных котлах-долинах, и постепенно возникало все больше различий с языками соседних долин и с исходным языком.

Кстати, браки заключались тоже с партнерами из своей же долины. Общины были тогда малолюдными и замкнутыми. Во избежание кровосмесительных последствий иногда привозили себе жен из других мест, но такой «импорт» был дорог, труден и потому редок. Такие географически изолированные группы принято в науке называть популяциями. Со временем каждая популяция и обособилась в отдельную народность.

А религия? Хоть она сейчас и отмирает, но в ее догматике и обрядах должны же сохраниться черты, указывающие на некий фундамент? Но нет. Религия — это поздняя надстройка. Когда-то памирские народности исповедовали буддизм, зороастризм, а с установлением в VII—VIII веках нашей эры ислама здесь пышно расцвели всякие «ереси». Постепенно возобладал исмаилизм — «еретическая» секта ислама со своей сложной морально-философской системой. В ней переплелись догматы самых разных религий. Но были и свои нравственные, идеологические и бытовые установления, своя духовная иерархия. Живой бог Ага-хан считался воплощением «мировой души». Ее частицы воплощались и в руководителях духовных общин — ишанах. Ишаны не были священнослужителями в современном смысле этого слова. Они не отправляли службу, а лишь представляли общину перед Ага-ханом.

Не было у исмаилитов и мечетей, пышных обрядов. Каждый мог общаться с богом в любом месте и сам по себе. Религия была здесь не обрядовой, а скорее интимной, склоняющей к созерцанию.

Еще в 1928 году на Памире проживало 8 ишанов. Рисованный портрет одного из них мне подарила вместе со своим архивом участница памирских экспедиций начала 30-х годов Валентина Михайловна Поповская. На рисунке Абдул Гияс-хан, живший тогда в Вамаре (Рушан). Ликом он сильно смахивал на старика Хоттабыча с иллюстраций к известной сказке. В начале 30-х годов этот человек «перековался» в жестянщика, в трудящегося... Но исмаилизм — это не только памирская особенность. Его и сейчас исповедуют в некоторых областях Афганистана,

Пакистана, Северной Индии. Значит, и анализ религии не помог докопаться до корней памирцев.

С этим народом я связан вот уже более четверти века и люблю его. Среди памирцев у меня много друзей. С ними мне интересно. И легко. Наверное, все дело в нормах поведения, в национальном характере народа...

На Памир приезжаешь с основательным зарядом темпа городской жизни. И сразу погружаешься в неторопливый мир. Никто не спешит. Люди ходят медленно, степенно. Бегают только ребятишки. Поначалу эта заторможенность даже раздражает, но через пару дней и сам начинаешь воспринимать окружающее с олимпийским спокойствием. Да и зачем спешить? Даже если я побегу куда-нибудь сломя голову, я все равно не смогу ничего ускорить, так как тут же наткнусь на всеобщий замедленный темп. И на меня, бегущего, удивленно посмотрят, как на суматошного «демона» (психа). Правда, только посмотрят, но не скажут то, что подумали.

Памирцев отличают поразительный врожденный или воспитанный сызмальства такт и доброжелательность. Побывав как-то на Памире, моя взрослая дочь сказала, что ей даже не хочется возвращаться домой.

— Почему? — удивился я.

— Понимаешь, здесь я иду, встречаю незнакомого человека, он мне улыбается, говорит: «Здравствуй», и я чувствую, что я ему не чужая. И он мне тоже.

Это верно. Доброжелательность — это основа поведения памирцев. Одно из старых здешних установлений гласит: «По мере возможности всем делайте добро или по крайней мере проявляйте добрые намерения». Ничего нового, не правда ли? Призыв творить добро содержится в моральных нормах всех народов. Но в замкнутых общинах иначе и жить нельзя было бы, и здесь эта формула стала не просто декларацией, а нормой поведения.

Вы встречаете незнакомого человека, и он искренне выражает по поводу этой встречи такую радость, излучает такое доброжелательство, будто это ваш большой и давний друг, о котором вы непростительно забыли... Никто здесь не будет давить вам на психику, навязывать свою точку зрения, развивать неприятную для вас тему разговора. Терпимость к другим взглядам здесь просто поразительна. Мне кажется, эта черта тоже помогает выживанию.

Кстати, терпимость и доброжелательность не мешали памирцам отважно отстаивать свою независимость

от чужеземных захватчиков. Любовь к своему бедному, но родному краю проявляется у памирцев в обрядах. Уходя в дальний путь, памирец высыпает за голенище золу из очага родного дома и целует свою руку в золе. Это для него как обет: «Буду жив, вернусь в отчий край».

Памирские женщины никогда не знали чадры и того дремучего бесправия и рабства, в котором их подруги пребывали в странах ислама. За четверть века я ни разу не встречал проявлений мужской ревности, и в тех случаях, когда на Кавказе пошли бы в ход кинжалы, на Памире обходилось лишь укором. Полное неприятие насилия, обмана или грубости—это тоже черты, выработанные условиями замкнутой жизни в прошлом. И честность тоже. Сколько раз бывало, что забытая где-то вещь переходила из рук в руки, пока не находила меня. Тогда вручавший мне эту вещь человек облегченно вздыхал и корил за рассеянность:

— Дети по глупости могут взять, потерять, что тогда подумают люди?

Свою полевую сумку с казенными деньгами я смело могу оставить на сохранение любому взрослому памирцу, уверенный в том, что тот даже не поинтересуется ее содержимым.

Памирцы традиционно многодетны и чадолюбивы. Когда-то выживала только часть родившихся. Сейчас, когда детская смертность сведена к минимуму, ликвидированы голод и эпидемии, семьи памирцев растут очень быстро...

— Мирзобек, сколько у тебя детей?

— Я молодой, мало пока, всего десять,—говорит он всерьез.

— Ну ты молодец,—отвечаю я неуверенно.

— Ты же знаешь, как на Памире,—говорит он.— Здесь дети сами растут. Это в городе нужны им всякие костюмы. А здесь они могут до школы в рубаше и штанах босыми бегать. Десять детей—это немного. Вон у Саломата восемнадцать, а ему всего сорок лет, он еще родит...

Умение памирцев довольствоваться малым уж точно рождено неплодородными этими горами. И хотя традиционная бедность сейчас сменилась зажиточностью, пуританский взгляд на жизнь остался. Однажды моя жена засомневалась, стоит ли ей принимать приглашение на работу и уезжать из-за этого с Памира. Сомнениями она поделилась со знакомой шугнанкой. Та выслушала, махнула рукой:

— Зачем тебе это? Лепешка у тебя есть? Платье

есть? Муж есть? Все есть. Что, денег тебе мало? Из-за денег ехать от мужа? Не нужно это.

Может быть, из-за такого вот взгляда на вещи среди памирцев мало предприимчивых людей. Но кто доказал, что предприимчивость нужна для счастья?

О ненавязчивом и сердечном гостеприимстве памирцев уже не раз писано. Мягкое достоинство, с которым хозяин преломляет скромную свою лепешку, непостижимо для меня. Этому нельзя научиться, с этим просто надо жить всегда.

О красоте памирцев. Вот хоть тот же Мирзобек. Тонкие черты мужественного лица, зеленые глаза, каштановые волосы, обаятельная улыбка. Его бы в кино показывать. Или вон там по саду идет сезонная рабочая Нукра (в переводе — «серебро»): Пятки от босого хождения у нее потрескались, а пальчики и лодыжка тонкие, и сама она стройна и изящна. И движения у нее такие, будто в балетной школе пластике училась. И откуда что взялось?

Если у читателя сложилось впечатление, что я пишу то ли о ханжах, то ли об ангелах, значит, я увлекся. Люди — это всегда люди, и среди памирцев можно встретить кого угодно. Я же писал о чертах национального характера. И если эта категория вообще существует, как итог обобщения, то у памирцев, мне кажется, характер такой, каким я пытался описать.

За последние десятилетия многочисленные народности Памира сделали невиданный рывок из нищеты на грани вымирания, из отсталости, религиозной заданности в новую жизнь. Новую в социальном, экономическом и культурном отношении. Дед моего коллеги-памирца был продан в рабство, а сам он стал академиком республиканской Академии наук. Вообразить такое всего за два поколения невероятно трудно. Нелегко перешагнуть уровень, от которого отставали веками.

Сейчас на Памире происходят сложные процессы этнической консолидации ранее разобщенных народностей. Очень быстро растут благосостояние, здравоохранение, образованность. Изолированные друг от друга долины связаны теперь дорогами. Смешанные браки стали обычным явлением. Новая жизнь «расконсервировала» этнические изоляты, и разные «припамирские» народности реально становятся просто памирцами. Нелегка эта стремительная перестройка. Очень важно не потерять в ней накопленные веками нравственные ценности. Я верю в эту перспективу. Счастья вам, памирцы!

Осень в горах



Паланг (из дневника, 28—30 сентября)

Ирбис во всем подобен рыси, и токмо меньше вполовину, шерсть короче и жесточе бывает, очень пестры...

В. Татищев

Архаров лет 20 назад стреляли часто. Это сейчас они охраняются законом, их отстрел запрещен. А тогда стреляли. Угощение мясом архары являло собой не только жест радушного гостеприимства, но и элемент хвастовства охотничьей удачей. Чтобы убить архару, нужны и зоркость глаза, и твердость руки, и охотничья хитрость, и незаурядная выносливость. И если все это в ком-нибудь совмещалось, тогда в гостях можно было получить вкусный и ароматный архарий каبوب (жаркое), темный по цвету и тающий во рту. Вот таким каبوبом угостил меня в тот день на Тогуз-Булаке старый знакомый Одинашо.

Все ели руками. Я тоже, хотя передо мной, как перед гостем, вежливо положили вилку, ложку и нож. Пока ели и пили, почти не разговаривали. Еда — дело серьезное, легкомысленно болтать за дастарханом — это значит неуважительно относиться к угощению, к труду хозяев. Только когда обглаживали последние косточки с блюда, хозяин стал рассказывать всякие диковинные охотничьи истории, которых я, признаться, не люблю: все они какие-то одинаковые, независимо от качества исполнения. Одинашо хорошо говорил по-русски. Он служил когда-то в армии, воевал, дошел до Кенигсберга, был ранен, потом долго лечился в госпитале на Урале. Речь его была образна.

Слушал я его вполуха, сонно. Иногда даже лениво думал о чем-то своем. Это было невежливо, и я время от времени согласно кивал, показывая, что слушаю. Потом заметил, что повествование ушло в сторону от охоты и вошло в философское русло. Сытная еда, уютная обстановка обычно приводят к неглубокому «философствованию» на уровне мелких обобщений. На сей раз речь шла о взглядах деда или отца Одинашо, начало монолога я пропустил.

— У нас так,— говорил хозяин,— если старший говорит, слушай и делай, как говорят. Старый человек много жил, много знает, чему в школе не учат. Старый человек тебя учит, скажи «рахмат», благодари. Я один раз лепешку разломал, по дастархану как попало раскидал, три-четыре куска вверх золой легли. Он мне по затылку дал, куски эти взял, поцеловал и обратно положил как надо, вниз золой. Говорит, если так хлеб кидать, голодный сидеть будешь. Хлеб, говорит,— это земля. И все, что есть, тоже земля. Хлеб обижать— это землю обижать. Он по затылку мне тихонько дал, но обидно. А я ему говорю «рахмат, дада». Он правильно говорил. Вот мы архара ели, то тоже земля. Архар траву ел, трава из земли росла. Все из земли, мы тоже...

Так, по-детски непосредственно, Одинашо излагал суть круговорота веществ в природе. Иногда спрашивал собеседников, правильно ли он говорит. Я подтверждал, что безусловно правильно.

Спать легли часов в десять, по здешним меркам поздно. Я как лег, так и проснулся в той же позе. Хозяин уже ушел на ферму. Его младший брат напоил меня чаем и тоже засобирался. Я сказал, что вернусь к темноте, сунул в карман штормовки пол-лепешки и горсть сахара, кинул через плечо гербарную папку, фотоаппарат и отправился вверх. Под ногами на пойме хрупал ледок. Осень.

Пока с работой поднялся на полкилометра, солнце припекло, ход замедлился. К полудню добрался до скальной стенки. Из-под скалы бил родничок. Сел в холодке, съел кусок лепешки, закусывая размоченным в воде сахаром, напился студеной водицы, сладко потянулся, разминая кости, сунул папку под голову и... уснул.

Проспал я, наверное, минут тридцать. Проснулся от холода. Высота 4500 метров, да и тень... Хотел было отправиться дальше, но замер. Метрах в ста внизу разыгрывалась драма. Здоровенный орел доклевывал улара (горная индейка). В воздухе летали перья. А

вокруг орла бегал волк, явно рассчитывавший на свою долю. Орел время от времени делал в сторону волка выпад, тот отскакивал метров на двадцать, а потом снова начинал приближаться кругами. Наконец орел подхватил остатки улара и улетел. Волк кинулся на место пиршества, но я свистнул, волк припал на задние лапы, оглянулся на меня и опрометью помчался вниз зигзагами.

Я сошел к пятну из перьев улара. От бедняги остался комок кишок и разбитый зуб. Из зоба торчала трава. Я разобрал ее. Рацион улара был прост: гусиный лук, желтушник, крупка, что-то еще, по малости частей неразличимое. Значит, в радиусе площади питания улара (это три—пять километров) были луга. Метод такого разбора остатков непереваренной пищи обычен, хотя и не очень приятен. Отправился наверх дальше.

Цель маршрута заключалась в проверке одного соображения. Хребет Бакчигир, служащий водоразделом между Гунтом и Тогуз-Булаком, развернут своими юго-западными склонами как раз навстречу ветрам, гудящим вверх по долинам. Значит, здесь зимой скапливается много снега. Это точно: зимой машины на этой части тракта частенько буксовали в снегу. А раз много снега, значит, склоны лучше увлажняются, а следовательно, здесь в нижнем поясе можно было ожидать сильного остепнения, а в верхнем—олуговения («ревизия» потрохов улара в этом смысле обнадеживала). А поскольку Бакчигир буквально прислонен к Памирскому нагорью, была надежда обнаружить в составе этих степей и лугов смешанные сообщества с видами, свойственными и нагорью, и Западному Памиру. И если такие сообщества обнаружатся, они послужат дополнительным доказательством взаимосвязи растительности востока и запада Памира, на чем я особенно энергично настаивал. Покинув на несколько дней свою команду, я подскочил к Бакчигиру исключительно ради этого единственного маршрута.

Идея в основе была здоровой, но степей я не встретил. Может быть, оттого, что все время шел по осыпям. Ни одного сколько-нибудь мягкого склона мне не встретилось, а значит, нигде было оказаться и степям. Но луга-то должны же быть. Однако минула отметка 4800 метров, начался скалистый, зубчатый гребень, а лугов не оказалось. Осыпи и морены подпирали гребень вплотную. Кое-где лежал снег.

Обидно. Пропыхтеть почти весь день по склону—и все зря. И только потому, что склон слишком крут, не

на чем удержаться почве и растительности. И тогда я решил перевалить хребет и выбраться на северный, более пологий склон. Гребень был серьезный. Между пиками-жандармами лежал зернистый полуснег, полулед — фирн, а эта субстанция коварная.

Чтобы не отступить от принятого решения, я довольно быстро забрался на такой откос, с которого назад вернуться было бы трудно. Полез вдоль глубокой трещины, доходившей наверху до фирновой подушки. Когда выбрался на нее, еле перевел дыхание: на альтиметре было 5400 метров. Глянул вниз и засмеялся от радости: под гребнем зеленела чудесная лужайка. Уж не на ней ли кормился бедняга-улар? Правда, до лужайки надо было еще добраться, а это непросто. Вниз метров на триста уходила северная часть гребня. Оглянулся — южная стена показалась еще круче. Возврата не было.

Перед тем как искать спуск, щелкнул фотоаппаратом в обе стороны и присел на снег покурить. От высоты сигарета показалась невкусной, но я устал, вставать не спешил и поэтому продолжал посасывать сигарету.

Постепенно стала подкатывать непонятная тревога. Я отнес это неясное ощущение за счет высоты и курева. Отбросил сигарету, посидел еще с минуту, но тревожное ощущение не проходило. Уж не тутек ли? Тутек-бедоу — это горная болезнь, и проявляется она по-разному. Впрочем, все равно надо спускаться. Я развернулся на снегу, встал и обмер... В десяти метрах от меня на карнизе лежал паланг (снежный барс, ирбис) и смотрел на меня в упор. Это была «кошечка» пуда на два с длиннющим хвостом, который на кончике то свивался, то развивался. Глаза у паланга были очень серьезные. Оцепенение не проходило. Я только подумал, что ледоруб — единственное мое оружие, и надо было выставить его штыком вперед на случай прыжка. Руки были как пудовые. Глядя палангу в глаза, стал медленно поднимать ледоруб. И вдруг сообразил, что фирновая подушка слишком мала и, если паланг прыгнет на меня, ничто не остановит моего падения. И тогда уж он полакомится тем, что от меня останется...

От этой мысли я сначала совсем перестал шевелиться, но потом страшно обозлился. Наверное, проклянулась свирепость далеких предков-троглодитов. Я топнул ногой, вдавливая ее поглубже в плотный фирн для упора, и резко выставил штык ледоруба. На карнизе что-то произошло, и только через секунду я

сообразил, что паланг исчез. Просто исчез, будто его и не было. Но потом я увидел, как на темном фоне дальнего жандарма мелькнула его серая пятнистая шкура, и понял, что паланг был. Был и ушел... В полной тишине. Ни один камушек не хрустнул... Как привидение.

Наверное, все это — от момента, когда я поднялся, до исчезновения барса — продолжалось максимум минуты две. Но в памяти этот эпизод сохранился как очень продолжительный, будто в замедленной съемке.

Почувствовал, что замерз. Спина была мокрой от пота. Только тогда заметил, что все еще стою, выставив ледоруб. Воткнул его в снег и стоя закурил. Садиться я все еще опасался. Сигарета показалась удивительно вкусной...

К лужайке спустился довольно быстро. От страха. Все думал, что паланг прыгнет на меня сверху, и от этого сползал вниз, не особенно осторожничая. Луговина оказалась интересной. Я сделал описание, собрал гербарий, но все как-то торопливо, не чувствуя радости от любимой работы. Страх еще не прошел.

Закончив работу, глянул на часы и ахнул. Времени на спуск до темноты не оставалось. Ночевать же в соседстве с барсом... нет уж. Да и не в чем было, вышел-то налегке... Стал быстро спускаться в видневшуюся щель. Но не прошел и сотни метров, как наткнулся на зверски разодранную и основательно обглоданную тушу нахчира (горный козел). От туши я ринулся вниз еще быстрее, опасаясь, как бы паланг не счел меня соперником в дележе добычи... С него становится... скотина тупая...

Так вот, ругая паланга всякими словами, я прыгал с камня на камень и думал, что зверь, вероятно, был сыт, когда разглядывал меня. И почувствовал я к бедному нахчиру что-то похожее на нежную благодарность. Кабы не он, я мог бы попасть в довольно скверный круговорот веществ.

Конечно, до темноты я спуститься не успел. Когда почти в полной темноте я зашелестел ботинками по полыни, почувствовал ее запах и услышал журчание ручейка, то остановился и посмотрел на светящийся циферблат альтиметра. Он показывал 4000 метров. Оставалось еще метров пятьсот спуска, но в темноте нечего было и думать об этом. На мне была только штормовка, и я попал «вдоль ночи». Спать не хотелось, да и боязно было. Не паланга боязно — он сытый и в этот пояс спускаться не будет. Страшно было заоченеть. И я стал рубить ледорубом кусты полыни и

кидать их в разведенный костер... Полынь трещала, чадила, но горела. Потом нагорела горстка углей, и костер повеселел. Сначала я вырубал полынь в освещенном кругу, потом рубил кустики на ощупь, и было не очень холодно. Забрел на рассвет, и я очнулся среди основательно оголенного участка склона. Когда я присел к костру и задремал — не помню.

Встрепенулся, запрыгал, чтобы согреться. Почувствовал голод. Вспомнил, что в последний раз ел накануне в полдень. Разыскал журчавший невдалеке ручеек, съел все, что оставалось в карманах, напился воды и хотел уже продолжить спуск, как взгляд уперся в склон соседней долинки. На склоне колыхалась бледно-зеленая степь...

Через час закончил работу и запрыгал вниз. В составе травостоя на степном участке хотя и встретились восточнопамирские виды, но преобладали все же западнопамирские. На отработанной же накануне лужайке господствовали виды, свойственные нагорью. Это нормально. Наверху режим осадков способствует проникновению видов с нагорья, а внизу — продвижению видов из Средиземноморья, с Иранского нагорья. Возникают два встречных миграционных потока на разных высотных уровнях. А смешанные сообщества мне так и не встретились. Что ж, может быть, в другой раз повезет...

На моем склоне еще лежала тень, а Рушанский хребет напротив, за Гунтом, красиво осветило солнце. Решил сфотографировать, потянулся к фотоаппарату, но рука забегала по пустому месту. Где же я забыл аппарат? На лужайке? Нет, не помню я там аппарата. У костра? Только не там, я хорошо огляделся перед уходом, да и светло уж было. Вспомнил, что перед появлением барса сфотографировал виды с гребня. Наверное, от страха тогда не огляделся перед спуском. Вот ведь досада...

До кибитки Одинашо я добрался лишь к полудню: пришлось пешком огибать западный выступ Бакчигира. Пришел и завалился спать. Вечером, когда хозяин вернулся, я рассказал ему обо всем. Он расспросил подробнее о моем пути и сказал, что если я забыл аппарат там, на гребне, то он принесет его. А может быть, и шкуру паланга. Во все это я не очень поверил и, когда утром узнал, что Одинашо с винтовкой ушел еще ночью, дожидаться его не стал. Уехал в Хорог.

А через три дня пришел к нам в лагерь брат Одинашо и принес мой фотоаппарат. Сказал, что возле него видны были следы паланга.

Бестолковая поездка (из дневника, 6—12 октября)

Никогда не знаешь, где найдешь, где потеряешь.

Русская пословица

Октябрь выдался прозрачным и по ночам холодным. Деньги на полевые работы подходили к концу. В отряде все не то раскачивались начать камеральную обработку, не то переводили дыхание после бешеного лета. И я решил оставить эту раскачку на месте и поехать в Дарваз. Надо было еще раз оглядеть верхи хребта, чтобы откорректировать давнюю свою съемку. Толчком же к такому решению послужила машина Памирского ботанического сада, отправлявшаяся в Душанбе за оборудованием. Решено—сделано: оставил за себя Рудика и укатил.

С перевала Хабурабат машина покатила вниз, а я остался на высоте 3300 метров. Забросил рюкзак на метеостанцию, расположенную тут же, договорился о ночлеге и налегке до темноты поработал на склонах. Когда вернулся на станцию, народу там прибавилось. Сильно заболела трехлетняя дочь начальника метеостанции, и снизу, из Калай-Хумба, вызвали врачей. Их было двое—молодой парень Николай из санитарной авиации, случайно оказавшийся в райцентре, и женщина-врач (по-моему, ее звали Вера) из районной больницы. Вместе с матерью девочки они всю ночь дежурили возле измученного болезнью ребенка. Я предложил свои услуги, наносил метров за триста воды и лег спать в тамбуре, выполнявшем роль сеней.

Проснулся от холода и свиста ветра. Было еще совсем темно, и я попытался продолжить сон. Но мысль зацепилась за вой ветра, я подумал, что вот пурга началась, что опять зря потратил время, и от расстройства заснуть уже никак не мог.

В доме все уже поднялись, а все не рассветало. Плотная стена пурги отгородила домик не только от дороги и людей, но и от света. Больная девочка спала, врачи с серыми от бессонницы лицами пили чай и обсуждали ситуацию. Ребенка утром должны были доставить в больницу, машину выслали из райцентра еще утром, но пурга расстроила все планы. Я предложил свой: нас трое мужчин, мы по очереди будем нести ребенка по дороге, пока не выйдем из зоны пурги (это километров пятнадцать), а там найдем

машину, их перед перевалом много скопится. Врачи отвергли мой план: девочку нельзя простужать, а при пешем ходе это случится непременно.

И вот потянулись двое суток под пургой... На третье утро все проснулись от тишины. Мы быстро оделись и выскочили из дома. Небо было чистым-чистым. Главное же — снизу доносилось тарыхтение бульдозера. Значит, к нам пробивались. Не успели допить утренний чай, как с северной стороны показался бульдозер. За ним шел одинокий бензовоз. Мы выбежали навстречу, но водитель уже знал о больном ребенке, его предупредили в Тавильдаре, с которой тоже поддерживалась по рации связь. Мать с девочкой на руках и Вера втиснулись в кабину. Николай остался ждать машину на Душанбе. Я простился с ним и с начальником станции, сел на цистерну и пристегнулся к скобе ремнем.

...Через час мы уже выехали из зоны снежных заносов. Можно бы и скорее, но вереница встречных машин и бесконечные разъезды с ними замедляли движение. А потом все вниз и вниз. Стало тепло. Трудно было поверить в снежные заносы и мороз. На дороге встречались ослы, груженные корзинами с виноградом. И это всего в двух часах езды...

К вечеру того же дня я уже оказался в Ванче. Случайно оказался. Попутной машины на Хорог не было, а на Ванч нашлась. Из Ванча же на Хорог можно и уехать машиной, и улететь самолетом. Заночевал на базе Ванчской геологической экспедиции, прямо в саду. Утром выяснил, что улететь смогу только завтра. Перекусив в столовой, вернулся в сад и стал разбирать гербарий... Тот самый, что удалось собрать у перевала за несколько часов работы. На метеостанции разбирать его было негде.

Вообще-то разборка гербария считается технической работой, и некоторые геоботаники, выросшие из той золотой поры, когда человека еще называют молодым, перепоручают это дело лаборантам. Я предпочитаю на худой конец присутствовать при разборке, а лучше — делать эту работу самому. Это не только полезное, но и увлекательное занятие. За нормальный маршрут набирается основательная пачка гербария. При ее разборке мгновенно встают перед глазами (теперь говорят: «перед мысленным взором») те места, где растения собраны. Это во-первых. Во-вторых, при первой разборке не всегда удастся поставить все диагнозы, то есть определить названия всех растений. При повторных же разборках примелькавши-

еся «упрямцы» обычно сдаются. Более того, перебирая листы еще не высохшего гербария, подчас обнаруживаешь или ошибки в старых диагнозах, или какие-то особенности знакомых растений, на которые раньше внимания не обращал. Или вспомнишь о том, что в институтском гербарии мало, например, плодоносящих экземпляров такого-то вида, а собранный экземпляр как раз плодоносит. Я уж не говорю о том, что частая разборка способствует лучшему высушиванию растений, повышает качество сбора. Очень полезное это занятие!

Разборка показала, что при сборе я поторопился: растения были заложены в листы бумаги небрежно, плохо очищены от прошлогодних высохших листьев, кусочков дернины, всякого органического мусора. Вспомнил, что тогда близился вечер, надо было успеть осмотреть участок до возвращения на метеостанцию, вот и поспешил. Выбирая из прикорневых частей растений кусочки дернины, прихваченные ледорубом, я отбрасывал ненужные травинки на газету, и там уже выросла изрядная горка, свидетельствующая о моей нерадивости. Потом упаковал гербарий и взялся за газету с травяной горкой, чтобы выбросить мусор подальше от спального мешка. Из горки торчал пожелтевший злачок. Я потянул его. Это был побуревший экземпляр луковичного мятлика.

Сообразил, что гербарий я собирал высоко, в диапазоне от 3300 до 4000 метров. Высоковато для этого эфемероида, живущего обычно на равнинах и в предгорьях Средней Азии. Правда, этот злачок встречали и на высотах до 3500 метров, а до высоты 2900 он даже формирует сообщества. Но все равно интересно, что равнинный вид оказался так высоко. Стал перебирать горку бурой травы, вычищенной из гербария. Нашел несколько стебельков осоки толстостолбиковой. Она обычно растет рядом с луковичным мятликом и в горы забирается до высоты 3400 метров. Но это бывает редко, и то только в особо сухих условиях. А на перевале влажно...

Отложив стебельки осоки и мятлика, я выбросил остальной мусор и стал записывать в блокнот это наблюдение. Досадно, что при разборке гербария я не обратил внимания, из каких листов были вычищены эти виды, и сейчас высоту их сбора установить уже было нельзя. И я решил, что при камеральной обработке обдумаю, с какой стати равнинные виды вообще так высоко забираются в горы. И надо не только обдумать, но и хорошенько порыться в литературе, в коллекциях,

отчетах и так далее. Задача интересная. То, что она возникла и была сформулирована, можно было считать положительным итогом всей этой бестолковой поездки.

Утром погода оказалась вполне летной, и я вернулся в Хорог. С тех пор прошло много лет, и только тогда прорезался первый результат...

Годы спустя (отвлечение)

В последнее время о природе
узнали много любопытных пустяков.

Э. Чаргафф

...С тех пор прошло много лет. В те годы я упорно разыскивал и в горах, и в разных источниках, а потом разносил на карточки сведения о низкогорных и равнинных видах, забирающихся высоко в горы. Этих видов оказалось много — десятки. Да еще более трехсот видов по мере поднятия в горы изменялись под влиянием среды и давали начало новым родственным видам, имеющим другой экологический диапазон. Такие родственные, но живущие отдельно виды называют викарными (замещающими). Многие из них давали начало целому ряду викариантов, живущих в горах друг над другом.

Некоторые виды распространены в горах широко. Иногда, если отсчитывать от самой низкой точки их обитания, они расселяются по склонам в диапазоне четырех километров. Например, полукустарник терескен серый. Или осока узколистовидная. Другие одолевали в горах подъем на 3500 или 3000 метров. И так далее. Сначала я объяснял это врожденной выносливостью этих видов, их способностью чувствовать себя терпимо и на огромных высотах, и внизу. Занялся просмотром материалов по их экологии и... отказался от этого объяснения. Среди широкодиапазонных видов оказались и ксерофиты (терескен, некоторые солянки, астрагалы), и мезофиты (осоки, луки и др.), и эфемероиды, и травы, и полукустарники, и суккуленты, и виды, формирующие сообщества, и те, которые к такому формированию не способны. Стало ясно, что нужно разбираться основательнее.

Дальнейшие «раскопки» увели в сторону процесса формирования флоры (его называют флорогенезом) и в палеогеографию. Потом в тектонику. Потом в палинологию — науку о восстановлении былой растительно-

сти по ископаемым пыльце и спорам. Потом пошла литература по тем же вопросам о смежных со Средней Азией территориях — Гималаях, Куньлуне, Каракоруме, Копетдаге, Гиндукуше. Дальше — больше: понадобились те же материалы по Кавказу, Ирану, Ближнему Востоку... Потом я поехал на сухое Армянское нагорье. Потом в Дагестан и Приэльбрусье. Круг материалов и интересов рос как снежный ком. Трудно даже было представить себе, что внутри этого гигантского кома находится мусор из небрежно собранного гербария.

Чтобы избежать беспредельного разрастания материала, я изо всех сил уперся пятками, как на спуске с крутой осыпи, и попытался затормозить. Но не тут-то было: интересы и факты опрокинули меня и поволокли дальше. И волокли до тех пор, пока не вырисовалась некая концепция. Попробую изложить ее суть. Вкратце.

Горы Средней Азии и всего альпийского складчатого пояса (а это горы от Северной Африки и Южной Европы до Тибета и Гималаев) испытывают по мере формирования два этапа: сначала идет складкообразование, а потом горы становятся жесткими и начинают подниматься блоками. Каждый блок — это огромная глыба земной коры, ограниченная со всех сторон разломами. Один блок может включать несколько крупных хребтов. Блоки поднимаются с разной скоростью, отчего, кстати, происходит большинство землетрясений. Как видите, начало совсем не ботаническое. Блоки земной коры то обгоняют друг друга в поднятии, то отстают от соседних гор, то испытывают периоды покоя, а иногда и опускания. Совсем как клавиши рояля, на котором играют. Весь этот процесс назвали «клавишной» тектоникой. В ней-то и оказался главный ключ к загадкам флорогенеза.

Последние 30—40 миллионов лет неравномерный подъем гор продолжался хоть и с перерывами, но зато с ускорением. Особенно быстро поднятие гор шло в течение последних трех миллионов лет. Горы вращались в тропосферу. Специалисты по тектонике доказали это на обширном материале. Но раз они вращались в тропосферу блоками, они должны были вовлекать в поднятие и растительные сообщества. И я стал проверять это предположение всей суммой имеющегося материала. И выяснилось следующее...

Поднимаясь вместе с горами, сообщества перестраивались. Одни виды не выносили падения температуры (ведь на высоте холоднее, чем внизу), и, пока горы поднимались, эти виды как бы «сползали» по склонам вниз, сохраняя свой прежний высотный уровень рас-

пространения. Другие оказались такими тонко организованными или такими консервативными, что при малейшем поднятии гор и изменении среды они погибали. И чем быстрее росли горы, тем больше была доля погибших видов. Третьи оказались выносливыми и продолжали подниматься вместе с горами во все более холодные слои тропосферы, сохраняясь в том же виде, что и внизу. Четвертые во время подъема изменялись и давали серию викарных видов, из которых каждый следующий по родству вид оказывался лучше приспособленным к холодной среде высокогорий, но... уже не мог жить в тепле нижних поясов.

Таким вот образом происходила сортировка видов, втянутых в тектоническое поднятие гор.

Вырастая, горы отгораживали равнины Средней Азии от влияния муссонов Индийского океана. А потом некоторые горные районы отгородились и от циклонов Атлантики. Становилось все суше. Расширялись пустыни. А в самих горах формировались высотные пояса, по которым растения в зависимости от видовых склонностей и сортировались, и размещались. И сообщества тоже. Некоторые пояса оказались хорошо изолированными. Из них растения не могли двинуться ни вверх (холодно!), ни вниз (сухо и жарко!). В таких поясах шло активное видообразование. За счет чего? Да как раз за счет бывших равнинных видов, переживших втягивание в подъем гор.

А потом горы выросли так, что их гребни стали оледеневать. К тому же в северном полушарии вообще похолодало, и оледенение началось также и на равнинах. А в горах ледники, разрастаясь, стали спускаться вниз. Снизилась и снеговая линия, и границы всех поясов. Высокогорные виды, спасаясь от гибели (они и так жили на возможном пределе выносливости к холоду), ринулись вниз, где теплее. Не в человеческом смысле — вниз «ринулись» следующие поколения высокогорных растений. «Паническое бегство» высокогорцев с завоеванных позиций смяло все поясные границы, и отступление вниз стало массовым. Многие виды погибли, некоторые снова видоизменились, а все выжившее скопилось в одной «толпе» со среднегорцами у подножий гор, рядом с равнинными видами. И все они там пережидали ледниковое ненастье. А пока пережидали, образовались гибридные формы. Таким образом, когда ледники в горах стали отступать вверх, за ними двинулся в горы уже не прежний, равнинный, а новый набор растений, изменившийся по сравнению с исходным.

Сначала за отступающими ледниками растения двинулись по долинам рек. Этому способствовали теплые долинные ветры, дующие снизу. Мезофиты продвигались в горы вдоль пойм рек, а ксерофиты двинулись по сухим склонам. И снова началась сортировка, но уже куда более жесткая, чем при поднятии гор. Ведь ледники отступали значительно быстрее, чем поднимались горы, и растения «втягивались» за ними тоже очень быстро. И снова часть видов погибла, часть видоизменилась, а часть приспособилась. Поскольку ледники наступали и отступали не менее трех раз, сортировка растений и сообществ происходила неоднократно. И виды, имеющие сейчас особенно большой диапазон высотного распространения,—это те, которые выдержали такую неоднократную сортировку.

Но и это не все. Во время оледенений в горах были прогреваемые склоны, на которых сохранялись доледниковые виды—реликты. Во время межледниковий некоторые из этих реликтов вновь широко распространились, перестав быть реликтами, а другие, не сумев приспособиться к новым условиям, так и остались в своих убежищах. Кроме того, во время оледенения растения и сообщества перемещались вдоль подножий горных систем на дальние расстояния. Такие перемещения называют миграциями. Благодаря им происходил обмен растениями между Средиземноморьем, Кавказом, горами Средней и Центральной Азии. А во время межледниковий, как, например, сейчас (мы ведь живем в эпоху между оледенениями), миграции тоже происходили, но на более короткие расстояния—вдоль высотных поясов внутри каждой горной системы. И между соседними системами тоже, если они вплотную примыкали друг к другу. А поскольку смежные системы поднимаются с разной скоростью (то, с чего я и начал рассказ), мигранты проникали в самые разные высотные полосы соседней системы.

Таким образом, современная флора гор—это результат видообразования и миграций на разных высотных уровнях и на разные расстояния, итог сохранения реликтов в убежищах, многократной сортировки исходных форм и гибели наименее приспособленных. И всем этим процессом «дирижирует» тектоника, то есть процесс становления гор. А раз так, то, значит, эволюция растительного покрова—это не только биологический, но и географический процесс...

Такая вот схема. Конечно, с многочисленными нюансами. Например, если горная система «не дорастала» до холодных слоев тропосферы (как Копетдаг,

например), там и оледенения не было, а значит, формирование горной флоры протекало по другой модели. Или так: в изолированных горных массивах вроде Большого Балхана миграции извне не играли большой роли, а в массивных горных странах — на Кавказе, в Тянь-Шане, Памиро-Алае и так далее — мигрантам было где «разгуляться» при большой протяженности хребтов. Или: во влажных горах, где формировался лесной пояс, подгорным растениям было труднее пробиться наверх, а в сухих безлесных горах обмен видами между низкогорьями и высокогорьями был довольно активным. Или... впрочем, хватит, пожалуй. Географических механизмов эволюции оказалось так много, что я еле сумел втиснуть в написанную об этом книгу только самые важные...

А все началось с той самой бестолковой поездки. И с мусора...

Двойной гонорар (из дневника, 27 октября — 6 ноября)

В житейском словоупотреблении гонораром нередко называется также вознаграждение, уплачиваемое художникам, адвокатам или врачам.

Большая Советская Энциклопедия

В конце октября сильно похолодало. Когда закончили упаковку груза, наступила пора расставания. Сезонные рабочие получили расчет. С Султанбеком и Абдумадом, проработавшими со мной несколько сезонов, прощались долго и обстоятельно. 31 октября на своей машине Калашников сумел прорваться на Гунт: воды в Шахдаре с холодами стало мало, и он с помощью строителей дороги где бродом, где по «временке» выехал в Джаушангоз, а оттуда на тракт. Он похудел, оброс, но был доволен тем, что не надо оставаться на зимовку. Мы перенесли груз по бревну к машине, загрузили ее, и 2 ноября Зина, Рудик и Калашников уехали в Душанбе. А я остался еще на пару дней, чтобы закончить разные бумажные дела. После разъезда команды стало пусто, тихо и грустно...

Рано утром 5 ноября я спустился из ботанического сада в Хорог, чтобы поискать попутную машину и поспеть домой к праздникам. Летной погоды не было, городок уже был битком набит закончившими сезон экспедиционниками, машины на Душанбе были нарас-

хват, и я до полудня только зря протолкался на главной улице. Как всегда, выручили друзья. Один из геологов отдал мне свою бортовую груженую машину, поскольку встретил друга из дальней партии и решил задержаться в Хороге на сутки. Шофера звали Яшей. Его я тоже знал, что избавило от необходимости тратить силы на установление контактов.

К ночи добрались до Калай-Хумба, где и заночевали. Утром 6-го просерпантинили 14 раз на перевале. Я хотел на минутку забежать на метеостанцию, чтобы справиться о здоровье девочки, так тяжело болевшей месяц назад, но увидел ее гуляющей возле домика и порадовался тому, что все в порядке. Покатали вниз. К Калай-Гуссейну.

После трудных каменистых дорог Памира Калай-Гуссейн предстает перед путником в виде соблазнительного оазиса, и редко кто проскочит мимо чайханы. Там накормят горячей шурпой, жирным кабобом, сварят яиц, а к чаю иной раз подадут только что откачанный теплый мед с горячей лепешкой. Не чайхана, а голубая мечта!

Мы притормозили перед чайханой, плотно пообедали и приступили к чаю. Уезжать из этого гостеприимного места мы не спешили и чай пили неторопливо, явно оттягивая момент, когда хочешь не хочешь, а надо лезть в надоевшую кабину машины. Чай нам подавал паренек лет пятнадцати, очень живой: подбежит с чайниками, сгрузит их на стол, заберет в каждую руку по три опустевших и снова убегает. Потом Яша обратил внимание на то, что паренек этот все на меня поглядывает. Тогда и я стал замечать: пробегает мимо — покосится на меня, бежит на кухню — оглянется.

— Слушай, а ты не забыл здесь как-нибудь рассчитаться? — спросил меня Яша.

— Да нет, вроде... — я уж и сам стал сомневаться.

Потом парнишка убежал куда-то, мы допили чай и стали ждать его, чтобы расплатиться. Скоро он возвратился вместе с пожилой, как мне показалось, женщиной.

Она шла, вроде бы сомневаясь — стоит ли, но паренек придерживал ее за рукав мужского чапана, накинутаго на голову сверх марлевого платка. Подвел ее к нашему столику, усадил, что-то сказал ей. Стала поглядывать на меня и женщина. Не в упор. Глянет, отведет глаза, прикроет лицо марлей, из-под которой виднелись седеющие волосы, и снова посмотрит. Она тоже что-то сказала парню. Яша за всем этим наблю-

дал уже с нескрываемым любопытством, а я — с таким чувством, будто провинился.

Потом женщина вынула из-за пазухи платок, долго его разворачивала, наконец извлекла пожелтевшую фотографию, протянула ее мне и снова прикрылась марлей. На фотографии был я. Молодой и безбородый, я стоял возле палатки рядом со здоровенным таджиком и маленькой девочкой лет восьми или десяти. Это было... да-да... я вспомнил... Это было очень много лет назад. Но ничего я не понял. Наверное, это было заметно. Женщина ткнула пальцем в фотографию, показала на меня, спросила по-таджикски:

— Это Вы?

Я кивнул. Тогда она показала на девочку, потом на себя, смутилась и сказала:

— Это я.

И тут я вспомнил все...

...Стояли мы тогда лагерем возле кишлака Сафидарон. Это километрах в десяти выше Калай-Гуссейна. Лагерь — это громко сказано: две палатки и четыре человека — лаборантка Женя Ченцова, два рабочих и я. Ну, и штук шесть ишаков — наш транспорт. Кишлак был через речку от нас. Мы стояли там уже две недели — отработывали карту пастбищ, и с кишлаком у нас были самые добрые отношения. Однажды мы даже побывали там на свадьбе.

Как-то пришел к нам из кишлака крупный небритый дядька с девочкой-заморышем. Та упиралась, но он настойчиво тянул ее к нам. Сказал, что зовут его Каримом, что это его дочь, что она больна, голова болит, не спит. Он целые дни на полях работает, до района далеко, к доктору ее никак не отвезти, и не можем ли мы... вылечить девочку. Тогда я удивился, но позже уже воспринимал такие визиты спокойнее. Просто мы «русские», и врачи в те времена были, как правило, русские, вот и шли к нам. Нас считали за людей ученых, а раз так, то почему бы у таких людей не полечиться? Но тогда я растерялся.

Выручила Женя. Девочка отнеслась к ней с большим доверием, чем к нам, мужикам. Женя мигом выгнала из лагеря рабочих, сняла у девочки с головы какие-то тряпки, выполнявшие роль бинтов. Девочка захныкала. Я глянул и чуть не свистнул. Женя растерянно глядела то на меня, то на голову бедного ребенка. Вся голова представляла собой сплошной гноящийся струп. Не было даже волос. Карим с надеждой глядел на меня.

Что-то надо было делать. Для начала велел вы-

мыть девчонке голову теплой водой. Та все поскуливала, но уже не так дичилась. Пока грели воду, я мысленно мобилизовал свои скудные медицинские познания. Но их было так мало, что и выбирать было не из чего. Вымытая голова девчонки выглядела ненамного лучше, но хоть стали видны отдельные нарывы. Они почти сплошь покрывали голову. Это надо же, так запустить болезнь! Хотел отругать Карима, но решил выдержать солидность лекаря. Предложил Жене промыть девчонке голову марганцовкой, а тем временем снова думал, что бы еще назначить больной. Перебрал нашу аптечку, но там было скудно. Порывшись, обнаружил там большую коробку с белым стрептоцидом. Вот оно! И уже уверенным тоном велел истолочь стрептоцид, обсыпать им голову, а сверху положить побольше ваты, смоченной марганцовкой, и забинтовать все это чистыми бинтами. Решил, что хуже-то от этого не должно быть.

К моему удивлению, стало лучше. Назавтра, когда сняли бинты, голова мне почему-то больше понравилась, и мы повторили процедуру. За неделю нарывы исчезли, среди подсыхающих струпьев стали пробиваться волосики. Девочка уже бегала к нам сама, что-то щебетала Жене, нас не дичилась и охотно садилась с нами пить чай.

Настал срок, и зашедшему к нам Кариму я сказал, что завтра мы уезжаем. Передал ему остатки лекарств, проинструктировал, что и как делать. Он ушел, а потом вернулся с девочкой и принес в узелке десятка два яиц. Это был гонорар! Мой первый гонорар в жизни!

Яйца мы сварили и съели все вместе. Потом Женя щелкнула моим аппаратом нас троих на память, я записал адрес Карима, чтобы выслать ему фотографию, и мы простились. Утром он проводил нас. Больше мы не виделись...

И вот она передо мной, эта фотография. Значит, я послал ее все-таки, хотя совершенно не помню этого. Я смотрел на пожелтевшие изображения, на ту восьмилетнюю девочку, на эту сидящую женщину, на себя молодого и безбородого, и было мне грустно.

Женщина стала говорить, а парень переводить. Потом он уж сам стал рассказывать. Выяснилось, что этот парень—ее сын. Сколько он себя помнит, он видел эту фотографию, вставленную в раму вместе с другими, и, конечно, отлично помнил все лица на снимке. Поэтому и показался я ему знакомым. И хотя теперь встретил он меня бородатого и поседевшего (а

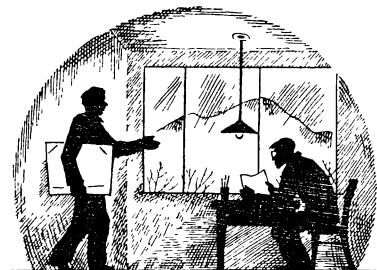
на фотографии я был совсем молодым), парень все-таки вспомнил, где он меня видел. Вспомнил и то, что слышал от родных по поводу этого снимка. Но для верности сбегал за матерью, и она меня тоже узнала. Сказала, что я «совсем как тогда был» (комплимент), и ткнула в старый шрам на моем виске. Вот ведь, запомнила же!

Я спросил про Карима. Все оказалось хорошо: он живет в Сафидароне, здоров, только толстый стал, ноги плохо носят. Передав для Карима «салом», спросил, почему же она сама не в Сафидароне живет? Все просто: она вышла замуж за парня из Калай-Гуссейна, муж сейчас в поле. Может, мы подождем до вечера, тогда увидим его, будем гостями... К сожалению, это было невозможно, мы спешили. Стали прощаться. Когда садились в машину, женщина что-то сказала парню, тот принес из чайханы вареные яйца в бумажном кулке, и она стала аккуратно пристраивать мне кулек на колени. Потом засмеялась, вытянула из-под платка прядь волос, подергала ее и сказала через сына, что хорошо я лечил, волосы вот какие крепкие, а не лечил бы, муж ее не взял бы... и снова засмеялась. И увидел я, что вовсе она не пожилая...

Помахав, мы уехали. Свернули в долину Обихингоу, и тут я заметил, что все еще держу в руках тот самый кулек с яйцами. Опять гонорар. Второй за тот же лекарский труд. А может быть, за мужа? За сына?..

Яша все дивился этой диковинной встрече, а я перебирал в памяти прошлое и не заметил, как проехали Тавильдару.

«Камералка»



Суть дела (отвлечение)

Терпенья угол — доля мудрецов,
Нетерпеливый мудрецом не станет.

Саади

«Камералка», или, официально, камеральный период, — это время обработки полевых материалов в неполевых условиях. Ходят люди все лето в горах маршрутами, ездят, летают, снова ходят, собирают полевой материал. Гербарий, описания сообществ, наброски карт, образцы, журналы регистрации разных наблюдений, а также катушки отснятой пленки, полевые зарисовки, исписанные полевые дневники, сотни заполненных бланков разного назначения... Все это и есть полевой материал. Его еще называют первичным. В том смысле, что материал этот пока сырой и требует обработки в стационарных условиях. В полевой обстановке полную обработку материалов провести нельзя. Некогда. Надо собирать материал, пока лето. Да и технически невозможно. Для обработки нужны справочные коллекции, определители растений, научная библиотека, лабораторное оборудование, оптика, чертежные принадлежности, да и сами чертежники-картографы, планиметристы, аналитики и прочие сотрудники. Все это имеется в городе, в институте. Там можно обработать, проверить, исправить, дополнить, обобщить в карту, отчет и статьи весь полевой материал. Этот процесс и называется «камералкой».

Осенью, когда снеговая линия в горах начинает ползти вниз, экспедиционная публика сворачивает кочевое свое хозяйство и движется в город на «каме-

ралку». Полевой сезон в Средней Азии длинный — месяцев шесть — восемь. Поле надоело всем, как говорится, «под завязку». Да и устали, обтрепались, истосковались по дому, по близким. Обгорелые, возбужденные от нетерпения и предвкушения благ цивилизации, полевики движутся к дому. Иногда путь длится несколько дней. Нетерпение растет. Весь сезон держались в напряжении, как свернутая пружина, а тут, бывает, и подраспускаются. На дороге, чем ближе к дому, тем чаще попадаются на глаза старые триконы, рваные штормовки, а иногда и хорошая какая-нибудь вещь, потерянная в спешке. Домой, домой! На «камелалку»!

На следующий по приезду день на работу по традиции никто из вернувшихся не выходит. Да и не требуют этого. Начальство тоже состоит из полевиков, оно понимает: людям после сезона положено отмыться, отоспаться, наговориться вволю с близкими, повидать заждавшихся любимых. Да и отработали себе полевики этот день. Что ни говорите, а, как поют в экспедиционной песне, весь сезон «с утра до вечера, зато без выходных». Этот день наш. В этот день никто из нас друг другу не звонит, никто друг к другу не идет в гости. Это потом. А сегодня день принадлежит тем, кто ждал нас. Это их день.

На третий день после возвращения все приходят в институт. Приходят — и не узнают друг друга. Кто сбрил бороду, кто подстриг ее поэlegantнее, все свежешагстриженные, чистенькие, отутюженные. В городском наряде как-то непривычно, и полевики ходят, стоят, сидят как в плохом спектакле — скованно, чуть смущенно. С переменным успехом приглушают они привыкшие к пространству голоса и все равно вносят в тишину учреждения невероятный гвалт. Это, по моей классификации, «полевики-братья». Потому что и сам я таков.

Но есть и такие, которые везде как рыба в воде. Они и в поле чувствуют себя великолепно, и одеты там даже с некоторым полевым шиком, и в городе они выглядят так, будто робы и триконой никогда в жизни не носили. Это «полевики-артисты». Никакого производственного оттенка в этом определении нет. Среди них встречаются и блестящие работники, и средние.

Исключением из всех категорий надо признать женщин. Они в городском как рыба в воде... И не галдят. Даже наоборот: воркуют как-то особенно, не по-полевому. Да и понятно: полевая работа — это то, к чему женщине привыкать трудно. А отвыкать и не

приходится: даже самые отважные и выносливые из них в экспедиции все равно остаются городскими женщинами в отличие от «братьев», обрастающих в поле шерстью и чуть ли не раскачивающихся на хвостах. Женщины-полевики радикально отличаются от «полевиков-артистов», у тех внешний шик—это результат волевого усилия, помноженного на желание покрасоваться. Женщины же остаются сами собой только в городе, а в поле ломают женское свое естество. И хотя выдвигал я женщин-полевиков «милостию божьей», но все-таки считаю экспедиционную работу не женским делом. Бросайте в меня камни, сторонники полной эмансипации!

...Все равно и этот день почти нерабочий. Где там! Одни встречи и разговоры с ребятами из других партий и экспедиций, со стационарниками, даже с начальством—это же так интересно и приятно! Это необходимый атрибут и ритуал возвращения одновременно.

Во второй половине этого дня шум начинает стихать и сменяется более или менее деловой суетой. Распаковывают полевой груз, волокут на склад снаряжение, бегают с отчетом в бухгалтерию, приводят в порядок рабочие места... Но все как-то не вплотную, вроде бы по пути, в интервалах между встречами и разговорами. Но все же подготовка к завтрашней «камералке» идет. Кто подготовился всерьез—выгадал: завтра с утра можно успеть выписать все нужное для работы, забрать справочную литературу, карты и начать «камералку» рывком, обходя коллег в темпах. Это «полевики-деляги». Их благоразумие и расчетливость популярностью не пользуются, да и вообще этот тип полевиков встречается редко. Обычно еще день-другой уходит на то, чтобы подготовиться к зимнему старту—к «камералке».

Наконец, наступает такой день, когда все сидят за столами, никто без дела не толчется в коридорах, а в глазах начальства появляется некое убоготворение. «Камералка» началась.

Не стану утруждать читателя подробностями этого производственного процесса. Отмечу только, что «камералка»—это многогранная морока, имеющая целью предельную терпеливость и аккуратность во избежание ошибок. Ошибка—это ЧП в глазах начальства и кошмар для исполнителей. Допустим, кто-нибудь ошибся в определении нескольких видов растений, и в описания попадут неверные диагнозы, при вычислении экологических баллов (есть такая операция) получится результат, неправильность которого в глаза не броса-

ется, но непременно скажется на заключительных этапах обработки невесть откуда вылезшей глупостью. Ищи тогда источник ошибки!

Или так: лаборант вписал в графу урожайности по недосмотру не ту цифру, и, помноженная на сотни гектаров, эта цифра выплывает невероятной прибавкой или недостачей кормозапаса. Тогда концы с концами могут не сойтись, ошибку будут искать все, не зная, кто ее допустил.

Всю зиму все выискивают ошибки и устраняют их. И все равно к финишу всегда обнаруживается что-нибудь и вовсе несусветное: или в надписи к карте описки, или дважды два—пять—тут «веселья» хватает.

Пока «камералим», мысленно повторяем все маршруты. Это профессионально. Я и сейчас могу восстановить в памяти любой маршрут четвертьвековой давности. Вот мы и представляем себе каждый шаг, каждый ракурс гор при любом повороте. Это качество при камеральной обработке совершенно незаменимо... Вот, например, в пачке с гербарием обнаруживается лист бумаги с растением, а на листе ни номера, ни надписи. Значит, нет его и в журнале, неизвестно—где, когда и кем это растение собрано. Без таких сведений лист гербария теряет научную ценность, и растения в таком листе шутливо называют по-латыни *Planta corsinica*, что в вольном переводе означает «растение для мусорной корзины». Такой лист положено выбрасывать, пользы от него никакой.

Но бывает так, что растение чем-нибудь интересно и выбрасывать его жаль. Тогда все садятся вокруг листа и начинают почти детективное расследование. В какую газету заложено растение? За какое число? Какие растения заложены в ту же газету за близкие числа? Когда и где они собраны? Это один путь поисков. Он возможен только в случае, если растения заложены в газеты, а не в белую гербарную бумагу, довольно дефицитную. Другой путь—напряжение профессиональной памяти: растение такое-то, экология его такая-то, собрать его могли на умеренно влажном склоне на такой-то высоте... Где? И тут раздается чей-то голос:

— Да это же я на Вану собирал выше устья по левому берегу на конгломерате. Тогда при перекладке ветер был, и я сунул лист подо всю пачку, вот он и без номера.

Хохот и сердитое рычание сливаются в рев торжества.

По сути своей вся «камералка» — это мысленное повторение полевых маршрутов ради устранения ошибок.

Кстати, профессионально обостренная зрительная память может причинить и неприятности. Помню, как в первый свой заезд на Памир приехали мы к ущелью реки Нуры, стекающей в Алайскую долину. Там единственное, в Таджикистане место, где растет тяньшанская ель. Раскинули в сумерках палатки, что-то съели и завалились спать. Утром вышел я из палатки и огляделся. В километре от нашего лагеря раскинулся поселок Иркештам. На фоне гор и в свете утреннего солнца он выглядел довольно красиво.

Поглядев еще раз на поселок, я почувствовал вдруг, что когда-то уже видел его. Когда? Ведь я впервые здесь. Но я хорошо помню этот огороженный белым дувалом рабат на верхней террасе. Помню и дом с контрфорсами. И тропку на откосе террасы. Все это знакомо почему-то. А если отойти влево... да, если зайти слева, то из-за откоса должен показаться маленький белый домик на дне долинки... с парой окон, кажется...

Я быстро зашагал вниз с нашей террасы, прошел метров двести влево и оглянулся. Так и есть! У подножия верхней террасы стоял беленький домик с двумя окошками. Почувствовал вдруг, что схожу с ума... Вот если я сейчас резко обернусь вправо, то увижу куполообразную сопку, от которой ложбина как бы отрезала часть склона... Поворот головы, и... точно! Та самая вершина. Ложбина сходила к верхней террасе. Стало не по себе.

Оглянулся на запад — там ничего знакомого. На юге и на севере тоже ничего. А на востоке такой знакомый пейзаж и этот явно знакомый поселок, который наверняка вижу впервые, но тем не менее я узнаю все в деталях. Даже этот скальный выступ террасы и тот я где-то видел. Прямо наваждение какое-то.

Трогая бедную свою голову, вернулся в палатку и решил не вылезать из нее. А то еще что-нибудь померещится знакомым... Например, если подняться по склону метров на пятьдесят и глянуть на восток, то там по левому борту должна быть небольшая сопка, совершенно черная, наверное, покрытая сланцевой осыпью... Но никуда я не полезу и смотреть не хочу...

Но пришлось. Через час мы стали подниматься вверх по Нуре. Прежде чем уйти в ложбину, я оглянулся: километрах в трех от меня чернела та самая сопка...

Об этом наваждении я тогда никому ничего не сказал. Не хотелось признаваться в том, что я «с приветом». И жил я после этого случая с сознанием некоей своей неполноценности, о которой, к счастью, чем дальше, тем на более долгий срок забывал.

А потом, спустя несколько лет, листал я как-то по делу книгу В. Ф. Новицкого «Из Индии в Фергану», изданную в 1903 году, и наткнулся там на изумительную по четкости фотографию (тогда их называли фототипиями), а на ней тот самый Иркештам и вообще все подробности знакомого пейзажа. Значит, когда-то поглядел я на эту фототипию, запомнил ее содержание, а когда увидел сам пейзаж и поселок, не вспомнил об этом, а просто узнал местность. Подвела память: она оказалась в большей мере зрительной, чем общей. С тех пор, правда, никакие комплексы меня не одолевали...

Больше всего во время «камералки» глаз да глаз нужен за картой. Она обладает способностью выкидывать такие коленца, что все за голову хватаются. Все, кажется, в порядке. Все номера контуров расставлены и выверены по реестру. Чертежник-картограф, затратив на работу недели две, делает цветовой макет. И вдруг выясняется, что два смежных контура, имеющих разные номера, закрашены в один цвет. Первое подозрение: напутал чертежник. Но он клянется, что делал все точно по нашим материалам. Глядишь — и правда. Как это случилось? А никто не знает. Всяко могло случиться среди нескольких сотен контуров. Ведь каждый из них удивительно самостоятелен, даже паспорт имеет. Хватаешься за голову: двухнедельная работа насмарку. Ведь смежные контуры не могут иметь одинаковый цвет, а если он одинаков — не могут иметь разных номеров, это просто один контур. Кошмар! Отставание в сроках! Бегом в соседние комнаты, в другие отряды. И там шум и вопли по поводу цветочных макетов...

Но хуже всего, когда кто-то работал на смежном с твоим планшете. Все контуры на обоих планшетах, когда их сомкнут, должны совпасть до долей миллиметра. Практически, работая независимо друг от друга, сделать это невозможно. Поясные границы в горах Средней Азии расплывчатые, и «картировщик» может с равным основанием провести границу между поясами на сто — двести метров выше или ниже, и контуры не могут сомкнуться хотя бы по этой причине. Но дело осложняется, если, например, на краю моего планшета числится контур с разнотравными степями, а на план-

шете соседа этот контур обозначен как «тимьянники». Это уже вопрос принципа, взгляда на классификацию растительного покрова.

Не следует думать, что «картировщики» столь наивны, что сначала оформляют карту, а потом уж «сбивают» ее. Никому не хочется выглядеть на совете глупым, а если планшеты не «сбиты», то глупыми выглядят оба «картировщика». Поэтому карты сбивают задолго до окончательного их оформления. Ох, и муторное же это дело! Сидят два «картировщика», и каждый из них исповедует свои взгляды на классификацию растительности. Между этими взглядами общими можно признать только объект исследования да веру в силу познания. Остальное все разное. И начинаются «дипломатические» переговоры, при которых каждый знает, что сбить карты все равно надо, но ни в принципах, ни в частностях уступать не хочет. Совсем как при двусторонних переговорах между странами. Постепенно частностями поступаются. Такова уж их судьба. А по поводу принципов идут дискуссии, «легкое давление», «бросание шапки об пол», небольшие уступки в одном, небольшой выигрыш в другом, и все как-то образуется.

Ходит такой анекдот, основанный, говорят, на факте. Встретились в придорожной чайхане два «картировщика», попили чаю и стали сбивать планшеты по той самой схеме, что описана выше. И почти сбили. Но тут подъезжает третий «картировщик». Глянул он на их творчество и за голову схватился:

— Что вы делаете? Ведь между вашими планшетами мой!

Анекдот, конечно. Но если всерьез, то сбивать планшеты—это самая трудная часть «камералки». Помимо сугубо научной эта процедура требует и «дипломатической» квалификации.

А сама карта? Мало того, что она представляет собой конечный результат нашей работы, концентрированный итог деятельности всего отряда за год. Карта—это еще и произведение искусства. Принимая работу, и совет института, и заказчик в первую очередь смотрят на карту. И если она выполнена мастерски, это уже половина успеха. Мастерски—это значит правильно, четко, красиво, изящно. Это значит, что карта легко читается, в ней со вкусом подобрана цветовая гамма. Это значит, что карту просто приятно рассматривать. Небрежно выполненная карта вызывает у специалистов чувство, близкое к тому, что появляется при виде невымытой посуды.

Всякий чертежник обладает известным мастерством, но не всякому свойствен художественный вкус. Картографический вкус. Хороший картограф — это маэстро. Это большая редкость. И ценится такой специалист очень высоко. Наверное, с картографическим вкусом надо родиться. Не уверен, что его можно приобрести тренировкой.

«Самородок» (отвлечение)

Самородок — крупные природные зерна или различной формы куски благородных металлов.

Большая Советская Энциклопедия

— Здравствуйте. Скажите, пожалуйста, где здесь булочная?

В дальнем горном кишлаке, где и магазина-то не было, этот вопрос прозвучал нелепо, особенно это старомосковское «булочная». Мы с удивлением уставились на вопрошавшего. Это был долговязый мальчишка лет семнадцати, явно городского облика. Огромные грустные глаза и оттопыренные уши придавали ему одновременно глупый и трогательный вид.

— Товарищ с луны, — прокомментировал впечатление лаборант Коля.

— Вы знаете, я очень хочу есть, — грустно заметил мальчишка.

— Булочных здесь нет, столовых тоже, но с голоду умереть тебе на Памире не дадут, — сказал я. — Пошли.

И мы завернули в ближайшую кибитку, я вручил хозяину пачку заварки, он расстелил дастархан, выложил традиционную лепешку, мы вытряхнули свой полевой припас. Мальчишка потянулся было за сухарем. Я остановил:

— Потерпи, дождись хозяина и чая, будь мужчиной.

Он отдернул руку, извинился, грустно вздохнул. Видно, и правда был очень голоден. Расспросил его, кто он и откуда? Выяснилось, что зовут его Даниилом, он из Душанбе, куда родители весной только переехали из Москвы. Окончил десять классов, поступать никуда не захотел. Как он выразился, «не определил четкого интереса». Отец устроил его рабочим в экспедицию, но он опоздал на самолет. Потом не было летной погоды, а когда прилетел, ему сказали, что на его место уже кто-то принят, вручили деньги на обратный билет. Но он решил посмотреть Памир,

заехал сюда на случайной попутке, деньги подошли к концу, и вот он встретил нас («так удачно»,— добавил он).

Пока я просматривал его бумаги, подоспел чай.

— Когда ты последний раз ел?

— Вчера утром.

— Давай наваливайся.

— Благодарю вас.

Ел он быстро, но опрятно. Мы заканчивали в том месте маршруты, с часу на час ждали машину, и я решил увезти парня и пристроить куда-нибудь на работу. У самого у меня в отряде вакансий не было.

Для Даниила нашлось место сезонного рабочего в смежном отряде, которым командовала серьезная Начальница. Первое время наши базовые лагеря стояли близко, мы часто навещали друг друга, а иногда и объединялись для совместных маршрутов. С тех пор как появился Даниил, ни Начальнице того отряда, ни мне скучать больше не приходилось.

Почему-то парня никто не звал ни Данилой, ни Даней, а только полностью—Даниилом, иногда даже Макаровичем. При убеждении, что наш сумасшедший мир прекрасен и создан специально для него, он не ждал от жизни ничего плохого. Да и не встречал, я думаю. Наверное, от этого и шло непонимание им опасности. Это было не смелостью, а скорее какой-то необстрелянностью в жизни, но он слыл храбрецом. Дважды тонул, сунувшись вброд в заведомо опасном месте. Один раз, увидев гюрзу, решил поймать ее, наступил ей на хвост, и потом весь отряд, вместо того чтобы ритмично работать, целую неделю носил ему передачи в больницу.

По-видимому, родители несколько перехлестнули в его воспитании. При любых ситуациях он сохранял учтивость. На фоне несколько вольных памирских нравов это выглядело иногда смешно, а иногда даже занудливо. Например, порежет руку, кровь хлещет, а он выводит фразу:

— Коля, вас не затруднит посмотреть, где у нас бинты? Не откажите в любезности, пожалуйста...—И так далее и тому подобное.

Коля называл его Графом, но только за глаза. Такой уж он был, этот Даниил. Он очень хотел повзрослеть и свою акварельную молодость считал чуть ли не пороком. Этот чудак не понимал тогда, что если молодость—недостаток, то он уменьшается с каждым днем. Стараясь казаться солидным, любил пускаться в рассуждения, в которых за версту чувство-

валась литературная классика, правда далеко выходящая за рамки школьной программы.

По тем же классическим образцам проявлял он свою перманентную влюбленность в кого-нибудь. Казалось, он жил в постоянном ожидании, когда «дама» уронит платок, чтобы кинуться его поднимать. Но платков никто не ронял, а если обожаемые им Начальница и лаборантка давали ему поручение, он кидался выполнять его сломя голову, падал, расшибался и... блестяще проваливал любое дело. Однажды ему поручили доставить из Хорога в лагерь (это километров двадцать) оставленный там рюкзак. К всеобщему удивлению, рюкзак был доставлен за час. Начальница похвалила его за оперативность, но потом взялась за сердце: парень нанял и оплатил пятитонное грузовое такси, и доставка рюкзака обошлась отряду в порядочную сумму. Он не знал, что на Памире его подвезли бы и бесплатно.

Даниилу была свойственна какая-то обратная инерция. Когда надо было спешить, он еле двигался, а во время маршрута чуть ли не бежал. Он постоянно таскал мне растения, преимущественно всякую ерунду вроде сурепки, и спрашивал, не новый ли это вид. Коля при этом злился, но я думаю, что мальчишка просто хотел сделать мне приятное. Он вообще старался быть приятным и полезным всем без исключения. Врожденный такт и отличное воспитание при душевной доброте придавали ему необыкновенное благородство. Во всяком случае его Начальница признавалась мне, что рядом с Даниилом она чувствует себя иногда ужасно невоспитанной.

К тому же парень знал французский. Его рюкзак был набит зарубежными детективами в ярких обложках, и он часто предлагал обожаемой своей Начальнице услуги переводчика. Но французский язык в отряде был не нужен, нужна была прозаическая работа, но именно она ему никак не давалась.

Что у него не было навыков полевой работы, понятно: неоткуда им было взяться. Но он был начисто лишен элементарной восприимчивости к приобретению таких навыков и простой житейской сообразительности.

Спальные мешки выгружал с машины в арык. Паяльную лампу раскачивал, повернув ее к стенке палатки, и однажды учинил пожар. Вскрытую банку сгущенного молока укладывал во вьючный ящик «лежа», а потом искренне удивлялся, что все вещи почему-то липкие. Ледоруб в его руках превращался в

опасное оружие. Он размахивал им, как Дон-Кихот копьем, и в отряде многие ходили побитыми и перевязанными. И главное, что все это он делал с лучшими намерениями.

Сначала над ним посмеивались. Но постепенно Даниил превратился в настоящее бедствие. Начальница избавилась было от него, пристроив работать на метеостанцию, но через неделю он снова появился в лагере. Оказывается, он передал все напочвенные термометры, и его выгнали. Тогда Начальница не пожалела времени (наши лагеря тогда стояли уже довольно далеко друг от друга), привезла его ко мне и сказала:

— Ты его сосватал, ты и работай с ним. А я не могу больше.

Хлопнула дверцей кабины и уехала. Даниил стоял передо мной и сиял готовностью к беззаветной службе. Весь он был в ссадинах и синяках, одежда изодрана, на рубашке расплывалось грязное масляное пятно. Он искренне радовался встрече, улыбался во весь рот.

— Слушай, а не хочется ли тебе домой? — спросил я тоскливо.

— Нет, что вы?! — удивился он. — В городе сейчас совершенно нечего делать, а здесь так много интересной работы!

Я с опаской покосился на него. Он ничуть не шутил. Из-за отсутствия рабочих вакансий пришлось оформлять его по договору чертежником с месячным испытательным сроком. Это была единственная возможность что-то платить ему. Конечно, я и не думал допускать его к чертежной работе.

Но однажды мы с Колей ушли в многодневный маршрут, поручив лаборантке разную камеральную работу, включая чертежную. Мы тогда стояли в ботаническом саду, и для такой работы условия были. Когда мы вернулись и я спросил, где Даниил, лаборантка сказала, что он чертит карты. Я содрогнулся и кинулся в дом спасать планшеты. Даниил сидел, склонившись над чертежной доской...

Вычерченная им карта сияла тем картографическим шиком, какой дается далеко не всякому. Четкость и плавность линий, со вкусом подобранные и блестяще выполненные шрифты, изящная раскладка экспликации, точно отбитая и художественно выполненная рамка, а главное — безукоризненная чистота работы. Я опешил.

— Где ты учился чертить?

— Здравствуйте,— приподнялся он.— А у меня всегда по черчению пятерка была.

И я понял, что передо мной «самородок».

Через две недели бывшая его Начальница, увидев работу Даниила, стала сманивать его к себе. Когда я намекнул на некорректность ее поведения, она сказала:

— Он нанес моему отряду такой ущерб, что я имею право на компенсацию.

Пожалуй, она была права. Но Даниил не согласился уходить из нашего отряда. Подозреваю, что не последнюю роль в этом решении сыграла очередная «прекрасная дама» в лице конопатенькой сезонной лаборантки.

В том году наш отчет и карта были оформлены лучше всех. Даниил пошел в гору. Его зачислили в штат института. Потом его забрал к себе Сам, который не мог нарадоваться такой удаче: парень не только чертил, но и прекрасно рисовал. Его использовали уже только для самой ответственной работы, предназначенной для изданий. Но однажды Сам неосмотрительно взял Даниила с собой в горы. Тот мигом утопил собранный гербарий и прожег в парадном, взятом для представительства пиджаке Самого огромную дыру. Повидимому, по этому поводу было выражено неудовольствие не в самом академическом стиле, и геологам удалось сманить Даниила к себе.

Чертежно-картографическая слава далеко превзошла его известность полевика-неудачника. Его холили и лелеяли. И кто знает, как бы сложилась карьера и жизнь Даниила, если бы не приспела ему пора в армию. Отслужив, он окончил университет, и я потерял его из виду. Слышал, что он преподает геодезию и картографию где-то в Африке... на французском языке.

«Терескен с брусничкой» (из дневника, 22—28 ноября)

Я не допускаю ни одного слова, которое могло бы быть сочтено за насмешку или причинить оскорбление даже самым обидчивым людям.

Д. Свифт

Когда материалы к отчету были почти готовы, произошла еще одна нелепость. К отчету полагается сделать множество таблиц. Одна из них тянется

страниц на десять с продолжениями. В нее сведены данные по урожайности и кормозапасу по каждому контуру карты. На всякий случай объясню. Если средняя урожайность по контуру (то есть по территории, покрытой сравнительно однородной растительностью) составляет, скажем, два центнера с гектара, а контур на карте имеет площадь, соответствующую 500 гектарам, то путем элементарного умножения получаем общий запас корма для этой территории в 1000 центнеров. При этом годная для скота часть корма (ее еще называют поедаемой частью) и негодная рассчитываются отдельно. Короче, даже ученику начальных классов эта задачка покажется легкой. Но поскольку цифр много (одних контуров на карте бывает до 300, а по каждому контуру приводятся не только те цифры, о которых я говорил, но и другие), то надо следить, чтобы все сходилось, как в бухгалтерии. Проверять цифры можно с помощью четырех арифметических действий. Проверив выборочно таблицу (все сошлось), я успокоился. Таблица пошла на машинку, а я занялся другими делами.

Надо сказать, что в то время институт готовил к выпуску в свет толстенную сводку по кормам республики в помощь сельскому хозяйству. Поэтому, получив с машинки таблицу, я упростил ее, генерализовал, сократил тем самым ее до одной странички, дал перепечатать и в таком виде отнес к сотруднику, назначенному Самим для обобщения всех цифр.

Через пару дней этот сотрудник подошел ко мне, положил на стол мою табличку и, ткнув пальцем в результат, вежливо спросил:

— Не скажете ли, как это могло получиться?

— Что именно?

— У вас поедаемый кормозапас втрое больше непоедаемого.

— Не может быть!

Посмотрел я на таблицу — так оно и есть. Сказав, что разберусь, попросил оставить таблицу для проверки.

Поясню причину удивления. В Средней Азии крайне редки случаи, когда урожайность высококачественной части травостоя бывает выше непоедаемой ее части. Засушливые условия и многовековой бессистемный выпас приводят к тому, что на пастбищах разводится множество грубых, непоедаемых скотом растений. И чтобы весь кормозапас территории был с преобладанием поедаемой части травостоя — такого не бывает. Да еще втрое! Явная ошибка.

...В геоботаническом обиходе есть такое выражение: «терескен с брусникой». Терескен — это южный полукустарник, и в сочетании с северной лесной брусникой выражение звучит так же нелепо, как, например, белый медведь под пальмой. Этот жаргонный термин обозначает довольно емкую группу понятий. Это и грубый ляп в расчете, и недоброкачественное определение растения, и ошибка на карте, и сбой в режиме работы. Словом, «терескен с брусникой» — это высшее проявление какой-нибудь нелепости, беспорядка, дезорганизации. Происхождение «термина» мне неизвестно, но с урожайностью травостоев мы явно вошли в пределы терескенового брусничника...

К счастью, все цифры в отчете дублируются. Они вносятся в паспорт по каждому контуру карты, и пачка паспортов подшивается в конце к отчету. Я стал сверять таблицу с паспортами. На это ушел весь день. К его концу у меня зашевелились волосы на голове: все так и есть, поедаемого травостоя втрое больше, чем непоедаемого. Проворочавшись ночь, собрал с утра всю команду.

— Кто вел регистрацию урожайности?

Выяснилось, что вела ее студентка Зина, работавшая сезонным лаборантом, та самая, которая «умела делать все». Велел в течение часа разыскать ее и представить «пред светлы очи». Когда «выдернутая» прямо с лекции девушка вошла в комнату, я вежливо усадил ее перед собой, дал ей карандаш, положил перед ней чистый бланк поконтурного паспорта, взял в руки полевой дневник и сказал:

— Зина, я буду вам диктовать, а вы записывайте в паспорт данные.

Испуганная всем этим, Зина кивнула соглашаясь. Я стал диктовать, поглядывая в дневник, а она записывать. Именно так было в экспедиции, только диктовал ей чаще всего не я, а кто-либо другой. Когда бланк под диктовку был заполнен, я посмотрел на результат и облегченно вздохнул. (Это ночью у меня закралось подозрение насчет причины ошибки.)

Дело в том, что, диктуя цифры, мы всегда сначала называли более крупные значения урожайности непоедаемого травостоя, а в бланке паспорта сверху шла графа урожайности поедаемой массы. Так вот, Зина, не вдумываясь в смысл, записывала цифры подряд, по мере диктовки, и поедаемая фитомасса записывалась в графу непоедаемой. И наоборот.

Объявил результат «следственного эксперимента».

Все ахнули. Выходит, что цифры все сходились в сумме, но графы были перепутаны местами. Хорошо еще, что путаница шла не вразбивку, а по порядку, правильно. Надо было срочно переписывать все триста бланков, переделывать таблицу и все это заново перепечатывать. Зина сидела как пришибленная.

Объявил аврал по группе: сидим после работы, все без исключения занимаемся перепиской. Зина пожелала реабилитироваться, и из педагогических соображений ей было разрешено тоже приходить вечерами.

Через два дня «терескен с брусникой» был ликвидирован. Я пошел «охмурять» машинистку. Еще через несколько дней облеченный доверием *Самого* сотрудник по кормовой сводке получил исправленную таблицу. Пришлось объяснить, каким образом произошла путаница. Хорошо, что ему, а не *Самому*. Уж тот бы порезвился...

Вообще-то на месяц полевой работы положено два месяца «камералки». Это во избежание такого вот «терескена с брусникой» из-за спешки. Но... не получается. Если полевой сезон в Средней Азии тянется полгода да месяц-другой уходят на очередные отпуска сотрудникам, на всю «камералку» остается четыре-пять месяцев. Мало. Никто не соглашается, отказавшись от поля, сидеть летом в городе и камералить. Да и *Сам* не настаивает. Наоборот — гонит в поле пораньше, дает «добро» на возвращение в город попозже. Он прав, конечно: надо брать материал, пока можно. Но зимы на «камералку» не хватает. Цейтнот!

Результатов цейтнота несколько. Один — это частый перенос очередного отпуска приказом на следующий год. У меня как-то накопилось таких отпусков даже на полгода. Но где взять эти полгода? Летом ни один уважающий себя геоботаник в отпуск не пойдет. Да и не пустят. А зимы не хватает. Вот и отсчитывает касса кучу денег в компенсацию за неиспользованные отпуска. Другой результат — гонка камеральной работы и... из года в год недообработка части полевого материала. Обрабатывается только то, без чего нельзя составить отчет, сделать карту и сдать все это по правилам. А остальное откладывается до лучших времен.

Но лучшие времена не наступают, и груды необработанных материалов растет. Сейчас у меня ими набит целый шкаф. «Полевики-деляги» поэтому часто работают летом с прохладцей, собирают материала не больше того, что необходимо для отчета и можно успеть обработать за зиму. И камералят без авралов.

Им не надо сортировать материал— «это в отчет, а это—на потом». Сразу и не отсортируешь, на это необходимо время. А «деляги» покуривают да посмеиваются.

Горы необработанного материала растут. Особенно гербарных коллекций. Для отчета всякие там флористические редкости не нужны. Если таковые обнаруживаются, их забирает себе Сам. Но немало и таких видов из сложных групп (так называют группы видов, трудных для определения), которые и Самому неинтересны и без которых в отчете можно обойтись, но определить их необходимо хотя бы для себя, чтобы разобраться во всем поглубже. Для такого дела лучше всего, конечно, ехать в Ленинград, в Ботанический институт, где находится лучший гербарий страны. Не пойдешь же с несколькими пачками гербария к Самому: дескать, определите мой гербарий, пожалуйста. Лет за десять до описываемых событий я по наивности влез к нему в кабинет с пачкой гербария. Он посмотрел сквозь меня:

— Чтонибудь интересное?

— Не знаю,—говорю.— Определить вот не могу, не глянете ли?

До сих пор помню, как брови у Самого полезли вверх, как он задумчиво посмотрел на меня, потряс подбородком, будто пожевал что-то передними зубами (была у него такая манера), и произнес в нос:

— Да нет, знаете ли, вы уж сами, знаете ли, заняты...

И так на меня глянул, будто я совершил какую-то непристойность. Вообще-то ему просмотреть и определить пачку гербария—это десять минут, но он из принципа ничего подобного никогда не делал. Может, и правильно?

Камеральная сюита (отвлечение)

Фата-моргана... представляет собой случай сложного и особенно эффектного миража.

Большая Советская Энциклопедия

Случилась как-то одна история. Приносят мне контрольные отпечатки с отснятых и проявленных фотопленок. Это—ряды фотографий размером с кадр, оттиснутых без увеличителя для отбора и кадрировки. Просмотрел, заказал увеличить с сотню фотографий,

получил их и стал внимательно рассматривать и сортировать: эта — для отчета, эта — для статьи, эта будет интересна тому-то...

На одной из фотографий был снят узкий кулуар (ущелье) в Ванчском хребте. Я снимал тогда дальний план и не обратил внимания на ближний. Но на фотографии благодаря сильному диафрагмированию ближний план тоже получился резким. Со скалы, возле которой я стоял и фотографировал, свисало странное растение. Я такого никогда и не видывал. Тонкие, слабые стебли, на концах — соцветия, похожие на те, что у осоковых, но внизу была розетка, по стеблю вразброс серебристые листья, слегка волнистые, никак не осоковые, а несомненно принадлежащие двудольному растению. Поглядел я на фотографию и отбросил ее в сторону: чушь какая-то.

Ночью мне это растение приснилось. Утром поглядел на фотографию еще раз и понес показывать систематикам. Те пожали плечами. Кто-то предположил, что это невольный монтаж: два разных растения оказались на одной оптической оси и вышли как одно. Но я указал на листья, что виднелись на слабых стеблях: снимок был четким, листья хорошо видны, никаких других стеблей на снимке видно не было. Согласились, что на монтаж не похоже. Еще кто-то сказал, что это на один кадр нечаянно снято два сюжета, но дальний план был ясен как стеклышко, чего не могло бы случиться при сдвоенном негативе. А некоторые даже заподозрили меня в розыгрыше, к чему у меня никогда склонности не было. Я обозлился и попросил фотографа увеличить это растение на снимке настолько, насколько позволит качество негатива. Снимок получился сантиметров сорок по вертикали. Я прикнутил его к стене.

Как-то забрел к нам в комнату Сам. Зашел, удивился чему-то, и я понял, что он просто ошибся дверью. Но раз уж он оказался в нашей «вотчине», то поздоровался и поинтересовался — как, мол, идут дела? Будто за тем и пришел. Про дела я ему доложил. Сам покивал, потряс подбородком, направился было на выход, но уткнулся взглядом в фотографию. Уткнулся и... остолбенел. Постоял, потряс еще подбородком и вяло так, совсем незаинтересованно спросил:

— А это где снимали?

Я кратко объяснил.

— Надеюсь, собрали?

— Да нет, только на фотографии и обнаружили. А что это за зверь такой?

Сам пожевал губами, потер усы и поморщился:
— Знаете что, дайте-ка мне эту фотографию, я подумаю над ней.

Фотографию я ему отдал и тут же вывесил на стене другой экземпляр, хранившийся в столе.

Ни зимой, ни весной Сам так и не сказал мне ничего про это растение, но подозреваю, что что-то он о нем знал. Систематик он — дай бог каждому хотя бы половину. На фотографию «клевали» и приезжие ботаники. Некоторые кидали на нее взгляд, удивленно подымали брови, но ничего не спрашивали, видимо опасаясь проявить флористическое невежество. Другие учиняли мне допрос с пристрастием, но я лишь умолял их спросить что-нибудь полегче. Для себя же решил, что летом поеду в ту щель и соберу загадочное растение, даже если для этого придется нарушить график работ.

Так я и сделал: выкроил несколько деньков и вырвался на Ванч. В тот год двинулся ледник Медвежий, газеты были полны противоречивыми сообщениями и фотографиями с перевранными названиями хребтов, а долина Ванча была полна воды и тревог. С трудом добравшись до той щели, я вышел в боковой кулуар и быстро нашел не только скалу, что попала на снимок, но и то самое место, с которого снимал. Фотография была в руках — сомнений не было. Но не было и того растения. И вообще никаких растений на скале не осталось: по кулуару недавно просвистела лавина и смелá всю растительность, что была ниже ста метров над дном. Я сделал еще один снимок, с тем и ушел.

Следующей осенью Сам завернул к нам в комнату уже явно намеренно. Удивленно покосился на второй экземпляр снимка, начавшего уже выцветать, кивнул на него и спросил коротко:

— Собрали, конечно?

Я вынул отпечаток снимка, сделанного этим летом на том же месте и в том же ракурсе, и протянул ему. Он посмотрел на снимок, на меня, снова на снимок:

— Лавина?

Я кивнул. Сам шевельнул подбородком:

— Ясно. Впредь не зевайте, такое раз в жизни бывает.

— А что это все-таки было?

Он пожал плечами и вышел.

Так я и не знаю, что это за растение случайно попало в кадр и столь же случайно исчезло со скалы. Оно мелькнуло, поманило, как фата-моргана, намекну-

ло на что-то невероятно интересное, чего я так и не понял, и... будто его и не было. Это как раз тот случай, когда «камералка» позитивного результата не дала. Случай, к счастью, редкий. Как и то растение... к несчастью.

Час платежа (из дневника, 10 декабря— 3 января)

Из всех поводов к огорчению наиболее важным следует признать тот, когда человеку, который по праву рассчитывал на милость и благорасположение, чинят ущерб и досаду.

Ф. Рабле

В первых числах декабря успешно закончились пятиминутные переговоры на высшем уровне: Сам подписал приказ о моем командировании в Ленинград для обработки гербария, а я согласился на то, чтобы меня опять отозвали из отпуска, в котором я пробыл целых три дня. В командировке после этого пробыл три недели. Из Ленинграда я привез с собой здоровенный ящик с гербарием. В глазах еще плавало поле бинокля с тычинками, когда 31 декабря за десять минут до полуночи я успел домой к новогоднему столу.

Когда я пришел в институт и отнес в бухгалтерию отчет, там на меня посмотрели как-то странно, но ничего не сказали и отчет приняли. Пока я шел по коридору к себе в комнату, ловил на себе любопытные взгляды встречавшихся по пути сотрудников, но значения не придавал. А зря. Будь я повнимательнее, все последующее не было бы для меня такой неожиданностью.

Не успел я поприветствовать своих соратников и водрузить ящик с гербарием на стол, как в комнату влетела секретарша и сообщила, что меня вызывает Сам. Это уж я потом вспомнил, что глаза у секретарши блестели от любопытства, а коллеги порывались мне что-то сказать, но я опять-таки этому значения не придавал. Решил, что испуганные взгляды соратников вовсе не испуганные, а удивленные моим появлением, а острое любопытство секретарши отнес на счет купленного в Ленинграде красивого галстука. Поправил его и, довольный собой, пошел на «олимп».

Когда я вошел в кабинет, Сам посмотрел на меня как на пустое место, еле кивнул в ответ на мое бодрое

приветствие, подумал немного и жестом предложил сесть, но не в кресло у его стола, а на стул у стены. Это была плохая примета, и я, пока усаживался, пытался сообразить, что я такое напортачил с отчетом и картой, что удостоился разноса. А что разнос будет, я уже не сомневался. *Сам* умел это делать артистически, с большим аппетитом и никогда не повторялся. Поэтому каждого предстоящего разноса весь институт ждал с нездоровым любопытством. Я вспомнил сегодняшние взгляды встречных и понял, чего они ждут. Пока я в считанные секунды адаптировался в новой ситуации, *Сам* протянул мне какую-то бумагу:

— Ознакомьтесь.

Я взял бумагу, вернулся на «штрафной» стул и углубился в текст. Это был акт ревизионного управления Министерства финансов. Строчки прыгали в глазах: «Непредусмотренные сметой расходы на автотранспорт... злостное нарушение финансовой дисциплины... директору указать... к виновному применить дисциплинарные меры...» Постепенно до меня доходило, что виновный — это я, что речь идет об аренде той самой автомашины вместо ишаков, что обрушившийся мост все-таки ударил меня. Поднял глаза и увидел, что *Сам* наблюдает за мной.

— Что скажете?

— Так ведь я же писал объяснение про мост, про изоляцию машины...

— Это несущественно. Вы нарушили финансовую дисциплину, это отмечено управлением, а я получил по вашей милости замечание. Извольте ознакомиться у секретаря с приказом и расписаться в том, что ознакомились. До свидания.

В приемную я вышел, стараясь «сохранить лицо». Думал: «Неужто увольнение?» Несомненно заранее предупрежденная секретарша пододвинула мне приказ. Пока я читал его, думал, что *Сам* стареет или был не в ударе: никакого спектакля. Приказом мне объявлялся строгий выговор (простой выговор у меня уже был) за то-то и то-то, с конца апреля я отстранялся от камеральной обработки материала и командировался в Бешкентскую долину на корректировку чьих-то карт. Та-ак! Значит, штрафная работа. Выговор — это для Минфина, а корректировка — это для *Самого*. Он давно не мог выкроить из наличного состава такого глупца, который бы с радостью взялся за эту работу. Тут я и подвернулся.

Наиболее доходчивый путь к славе — это скандальный путь. Все меня спрашивали, что на этот раз

выкинул Сам при разное, а когда выслушивали ответ, уходили разочарованные, говоря:

— Это ты ему, значит, крепко «насолил», раз он даже не порезвился.

...Времени на «камералку» осталось еще меньше. До конца апреля надо было закончить все. Особенно огорчала гряда гербария с Северо-Западного Памира. Это был «рядовой» гербарий, в Ленинград я его не возил, но обработки он требовал. Как мы все ни «грызли» его, гряда убывала медленно: район «контактный», там много не только памирских, но и восточно-таджикистанских видов, возни с ними много, а сроки ужались месяца на полтора. К счастью, жил на свете Алексеич... Владимир Алексеевич Никитин.

Конец «камералки» (из дневника, 7 января—20 апреля)

Где начало того конца, которым оканчивается начало?

Козьма Прутков

Тогда Алексеич был еще жив и очень помогал справиться с трудными случаями. Но гряда гербария была так велика, что рассчитывать надо было в основном на себя. Надо было менять режим. И я его изменил.

Новый режим заключался в простейшей перетасовке 24 часов в сутки: на сон — не более 6 часов (меньше нельзя — убедился), на работу — 16 часов (больше тоже нельзя — пробовал), на еду и перемещения — 2 часа. Скоро, однако, рабочая часть суток стала сокращаться за счет не учтенных раньше заседаний. Но в среднем меньше 14 часов в сутки я не работал, и к середине марта основная часть гербария была обработана, а глаза мои под конец от постоянного пользования биноклем приобрели устойчивый красный цвет.

Наконец, остался пустяк — оформить и защитить на совете отчет и карту. Но и тут не обошлось без накладок. Когда отчет был оформлен, латынь в него впечатана и все экземпляры машинописи переплетены, обнаружилось, что лаборантка была в ударе вольного творчества: мало того, что в одном переплете оказались листы разных экземпляров с машинки, но вдобавок некоторые таблицы попали в один переплет дважды, а в другие не попали вовсе. Пришлось все расплести, перебрать и отдавать в переплет снова.

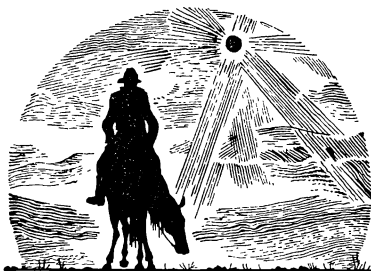
За два дня до заседания совета обнаружилось, что чертежник-картограф, создав удивительно красивый экземпляр карты, пропустил целую строку условных обозначений. Правда, за десять минут до открытия совета он принес исправленный экземпляр: пропущенная строка была врезана так аккуратно, что вклейку можно было заметить, только тщательно ощупав карту.

Но Сам заметил и без этого — визуально. Выступая по нашему отчету, он сказал несколько слов в том смысле, что не следовало бы нарушать традиций аккуратности в оформлении карт для заказчика, которому просто неловко, знаете ли, вручать экземпляр с врезками... Вот глаз! Остальное сошло благополучно. Отчет приняли.

Карту мы переделывать не стали. Шагая к заказчику, я немного опасался претензий. Но представитель заказчика, оглядев и ощупав карту, не обнаружил в ней никакого изъяна и подписал акт о приемке работы. «Камералку» можно было считать законченной. Даже досрочно.

Сунув акт в карман, я вышел на улицу. Светило теплое весеннее солнышко. Город утопал в свежей, еще не запыленной зелени. Мучительно хотелось спать. Вот отнесу акт Самому, потом как завалюсь отсыпаться на сутки... А там пора уж начинать подготовку к новой работе. Меня ждала Бешкентская долина.

Работа в долине



Задача (отвлечение)

С мая месяца в сем месте и далее в сторону Бухарии начинаются нестерпимые жары, доходящие до 40 градусов. В марте видишь выходящую траву... но через три месяца все сие пожигается зноем.

Филипп Назаров

Есть на юге Таджикистана два невысоких меридиональных хребтика. Один называется Аруктау, другой — Туюнтау. На юге Туюнтау сходит к Амударье, а Аруктау до нее не дотягивает и кончается возле реки Кафирниган. На севере Аруктау выступает скальным торцом, в котором имеется пещера, а Туюнтау смыкается с хребтом Бабатаг. Между этими хребтами и расположена Бешкентская долина, в которой мне предстояло за свои «прегрешения» выполнять штрафную работу. А штрафной она была во всех отношениях. Во-первых, мне надо было заняться корректировкой геоботанической карты, сделанной давным-давно двумя молодыми специалистами. Корректировка — это не съемка. Даже если я ухлопаю на работу все лето и переделаю карту на 90 процентов, все равно авторами карты будут считаться составители, а я — только корректировщиком. Невыгодная работа. А во-вторых, лета мне никто и не давал. Корректировку надо было закончить за один месяц.

Но могло не оказаться и месяца. Бешкентская долина лежит в зоне субтропических пустынь, господствует там эфемероидная растительность, и надо было работу выполнить до того, как выгорят травостои.

Самое же главное заключалось в том, что Бешкентская долина — это такое место, которое для полевой работы совершенно не годилось. (Недавно я видел в одном журнале цветную фотографию, на которой снята Бешкентская долина, превращенная в оазис: поля, сады, поселки, зелень...) Тогда же там не было ни одного стабильного жилья, ни одной речки, только на юге родник, вокруг которого кишели змеи. Пекло там страшное. Это одно из самых жарких мест в Союзе, да еще и ровное — укрыться негде. Вот там и надо было «замаливать грехи».

Команда (из дневника, 3—4 мая)

Успех исследования во многом зависит от тщательной подготовки к полевому периоду.

Полевая геоботаника

Отрядик мне выделили маленький, рассчитанный исключительно на вспомогательную деятельность. Шофер Борис Савинов с виду был похож на бродягу: брезентовые сбитые штиблеты на босу ногу, холщовые штаны, выцветшая драная ковбойка, а надо всем этим серое лицо и вихры волос, выгоревших до соломенного цвета. (Позже я узнал, что у него много боевых наград и что он неплохо говорит по-узбекски и по-таджикски.) Худой, высокий, близорукий и опрятный лаборант по имени Гелий был послан со мной за какую-то путаницу в планиметрии, которая повлекла за собой для института неприятности. Рабочий Абдумамад поехал добровольно: он работал со мной на Памире (читатель с ним уже знаком), приехал в Душанбе, где я оформил его на стационар, но, когда выпала мне Бешкентская долина, вызвался ехать со мной, проявив тем самым верность старому памирскому товариществу. Еще одного рабочего предстояло взять на месте. Вот и вся команда.

Под статью ей было и снаряжение. На корректировку всегда дают какое-то старье. С большим трудом удалось и машину-то получить. Словом, штрафная работа она штрафная и есть.

Надо бы выехать пораньше, до жары, но мы провозились со снаряжением, а тут настали майские праздники, и мы выехали из города только 3 мая после полудня.

К вечеру кое-как доехали до Курган-Тюбе —

зеленого городка, хранившего еще признаки недавнего пребывания в «ранге» областного центра. Надо было устраиваться на ночлег, я подумал о метеостанции, хотел узнать, где ее искать, придержал машину, выскочил... и, не успев хлопнуть дверцей, рухнул наземь под ноги человека, которого собирался расспросить. Возле дверцы кабины справа был прикреплен огнетушитель. Вот об него-то я и ударился плечом. Кряхтя поднялся. Плечо саднило, правая рука обвисла и в лучшем случае могла выполнять лишь «декоративную» функцию.

Человек, которого я хотел порасспрашивать насчет метеостанции, поцокал языком, взял меня за руку, повел ею в сторону. Когда я замычал от боли, поцокал языком еще раз и сказал:

— К дохтур нада.

Подсадил меня в кабину, стал на подножку, и мы покатали в больницу, пользуясь указаниями нашего гида. Приемный покой в лице энергичной седой медсестры оказался вполне оперативным. Мне вправили вывих плеча, смазали фиолетовое плечо чем-то желтым, забинтовали и разрешили ехать дальше при условии, что в ближайшие дни работать правой рукой я не буду. Возвращаясь к машине, подумал с иронией, что «год Змеи», к сожалению, пока не кончился.

Возле машины все еще стоял наш провожатый. Только сейчас я рассмотрел его. Это был молодой парень с живыми глазами, в тубетейке, белоснежной рубахе, галифе и брезентовых сапогах. Он оживленно объяснял что-то по-узбекски Борису. Оказывается, он предлагал нам всем ночевать у него. Было темно, все устали, и предложение было охотно принято... Наш провожатый сказал, что зовут его Эргаш. Он снова стал на подножку машины, и после долгих петляний мы прибыли к первому ночлегу.

Я завалился на суфу и, совершенно измученный болью в плече, с трудом уснул.

Проснулся, когда во дворике дома кипела жизнь. Милая седая старушка хлопотала вокруг кумгана, Борис с Эргашем разговаривали и пили чай, Гелий и Абдумамад принимали участие в разговоре лежа. Пока я умывался, Борис завел со мной разговор издалека насчет того, что нас мало, работы много, и все в том же роде, пока я наконец сообразил, что он выступает в роли ходатая. Речь шла о зачислении Эргаша в отряд рабочих.

Собственно, рабочий нам был нужен. Эргаш молод, он оказал нам услугу, и ежели он не претендует на

большее, то почему бы не взять его! Спросил только, почему он хочет ехать с нами. Эргаш разъяснил, что только на днях приехал из кишлака к дяде и ему нужно поступить на работу, чтобы закрепиться в Курган-Тюбе. Он уверял, что наша работа для такого дела вполне годится. После завтрака мы тронулись в путь.

Райцентр (из дневника, 4—9 мая)

Игла падает только в щель между половицами
(закон Жерома Куаньяра).

А. Франс

Неудачи не оставляли нас. Когда мы приехали в райцентр Пяндж, выяснилось, что на днях снесло паром, который ходил через Кафирниган; паром восстановили, но в меньших размерах, машины на нем перевозить нельзя, только людей и коней. Еле дозволился в институт (на это ушло полдня), рассказал о ситуации, и мне дали следующее указание: работу продолжать на лошадях, деньги на коней мне высылают телеграфом, Бориса или отправить с машиной в институт, или оставить в райцентре ждать нашего возвращения — на мое усмотрение.

Потом мы арендовали за пустяшную цену у одной сердобольной старушки, Марии Никандровны, прохладную кибитку с двориком и кусочком сада, где и поставили палатки. Там и стали ждать денег.

В райцентре мы застряли на более долгий срок, чем рассчитывали: телеграфный перевод угодил как раз на воскресенье, и деньги на почте я получить не смог. Сходили на базар.

...Сколько уж писано об этих среднеазиатских базарах, об их яркости, красоте, богатстве. Эти базары — настоящие выставки трудового достоинства. Каждый демонстрирует плоды своего труда, каждый любовно обмахивает, обтирает, складывает покрасивее эти плоды, каждый продавец — это труженик и заслуживает глубокого уважения. Восточный базар — это зрелище. Приезжих на него можно водить как на проверенный спектакль. Там красиво не только потому, что фрукты яркие, но и оттого, что всего много: каждый выкладывает все, что у него имеется, и поэтому впечатление изобилия возрастает многократно. Здесь торгуются, но не мелочатся, и торг выглядит

развлечением на этом ярком празднике труда и изобилия. Здесь не смотрят пристально на стрелку весов — дотянула ли она до нужной риски. Уж если не дотянула, продавец щедро подкидывает на чашку самый крупный плод, чтобы чашка опустилась донизу. Сложил бы я гимн восточному базару, да не умею.

Направляясь с базара домой, увидели, что возле поселковой столовки наблюдается некоторое оживление. Выяснилось, что привезли цистерну такого желанного в жару пива. Борис тут же притащил с базы три ведра, и мы отоварились, благо вечер был свободным. За ужином допили последнее ведро в обществе Марии Никандровны. Перед сном под влиянием пива я вышел прогуляться. Висела полная луна. Я направился в расположенные рядом развалины и вдруг услышал странный свист. Пригляделся... и замер. Как раз в развалинах, шагах в десяти от меня, раскачивалась кобра. Она походила на перевернутый маятник: раздула шею и свистела, предупреждая. От неожиданности и страха я сначала оцепенел, потом сделал шаг назад, еще, и таким вот образом пятясь, отошел от кобры дальше, а потом развернулся и припустил в кибитку. Даже забыл, зачем и ходил-то.

Рассказал о кобре, и все заговорили о змеях. Наговорили таких страхов, что ночью Гелий дико заорал во сне и всех перебудил.

В понедельник с утра прибыл перевод, но не было самих денег. Пока банк подскребал воскресную выручку, я пошел по районному начальству насчет лошадей. Встретил в исполкоме знакомого, и тот просватал нам в ближайшем колхозе четырех неплохих лошадей, которых мы тут же и арендовали. Наконец-то повезло! Но только я так подумал, как судьба преподнесла мне новый сюрприз...

Пока ждали коней, я отошел в холодок старой стены, прислонился к ней спиной и с удовольствием закурил. Потом закинул левую руку за спину, прижал ее к стене, выискивая наиболее удобную позицию в узкой тени, как вдруг руку точно раскаленным шилом проткнуло. Я охнул, обернулся и увидел здорового скорпиона, пытавшегося удрать в щель. Мигом выковырял его ножом и тут же растоптал. Скорпион был матерый, сантиметров восемь в длину, весь какого-то трупно-зеленого цвета. Рука моя между тем быстро вспухала, боль от места укуса распространялась вниз, к пальцам, которые уже сгибались с трудом.

Увидев все это, Эргаш сказал, что надо срочно бежать в чайхану и выпить там водки столько, сколько

могу. Борис авторитетно подтвердил назначение. И вот сцена: я сижу под чинарой на суфе и с отвращением глотаю из пиалы желтую теплую водку, глотаю, закусываю кишмишом и снова глотаю. Рядом сидит Борис, с завистью смотрит на меня. Наливая себе очередную пиалу, я сворачиваю правой рукой Борису кукиш, он вздыхает, отворачивается, ребята гогочут, а я снова глотаю теплую дрянь... Бррр! Никогда в жизни я не был так пьян.

Утром проснулся с головной болью непонятного происхождения: то ли от скорпиона, то ли от лечения. Рука опухла, место укуса одеревенело, пальцы не сгибались, болело почему-то под мышкой. Завтракать не стал, мутило. Отдал какие-то распоряжения и снова завалился в палатку. Так пропал целый день, драгоценный день в нашем цейтноте.

В среду с утра я был здоров. Предложил Борису отвезти нас к парому, куда Абдумамад и Эргаш уже гнали лошадей, и уезжать в институт. Но Борис стал проситься с нами. Машину он оставит у кого-нибудь на берегу и будет делать все, что велют. Я согласился.

Начало работы (из дневника, 9—12 мая)

Принимаясь за дело, соберись с духом.
Козьма Прутков

От райцентра до парома 16 километров. Там оставили во дворе паромщика машину, переправились в несколько этапов на правый берег, завьючились и тронулись к северу вдоль выгорающих склонов Аруктау. Это был еще «не наш» район, и мы спешили. К вечеру добрались до пещеры в северном торце хребта. В пещере кишмя кишели персидские клещи, и лагерь мы разбили на берегу Кафирнигана.

До темноты успели смыть пыль. Местами ноги утопали в ней по щиколотку, и все мы смахивали на «чертей из цементного бака». Гелий чем-то смазывал обгоревшую до пузырей кожу на плечах, Абдумамад чинил упряжь, Борис с упоением вспоминал мотомехдизию, Эргаш варил еду, а я с осторожностью шевелил своей натерпевшейся рукой. Все было в порядке. Установив это, я как убитый свалился в сон.

На рассвете раскинул карты, точнее, планшеты с геоботанической съемкой. Их было два. Один покры-

вал северную часть Бешкентской долины, другой — южную. Мы потеряли много времени, и я решил ради его экономии разбить отряд на два. По холодку поездил с Гелием по долине, убедился в том, что простейшими операциями по корректировке он владеет, и возложил на него корректировку северного планшета. Себе оставил южный, как наиболее сложный и отдаленный.

Работа корректировщика не так уж сложна. Нам надо было пересекать долину с востока на запад и обратно зигзагами и отмечать на карте границы растительных контуров, а на месте — саму растительность. При расхождении следовало вносить в карту поправки. Требовалось только время.

Абдумамад хотел ехать со мной, но я решил его, как более опытного в полевой работе, отправить с Гелием, а с собой взял Эргаша. Погрустневшего Бориса оставили в лагере одного. Бросать лагерь без присмотра было рискованно. Вот пригодился и Борис.

Коней выючили всерьез. Делали это для разных пар различно. Мы с Эргашем ехали с расчетом на 10 дней, поэтому на одного коня завьючили две сорокалитровые фляги с водой да две канистры на другого, помимо поклажи. Группа Гелия должна была работать с возвращением в лагерь, и воду они брали только с аварийным запасом в одной канистре.

Территорию, на которой предстояло работать Гелию, нам нужно было проскочить без задержки, чтобы поскорее взяться за свою часть долины. Ехали верхом на завьюченных лошадях. Мой конь был меньше загружен, иногда переходил на рысцу, и я ехал впереди. Сначала видна была тропка, ведущая на юг вдоль западных склонов Аруктау. Но травостой уже изрядно выгорел (все-таки мы опоздали, хотя работать еще можно было), и тропка скоро пропала. Плоское дно долины переходило в склоны постепенно: сначала шел пологий шлейф, а потом — холмистые зеленовато-желтые предгорья, за которыми виднелись бурые, с прозрачным зеленоватым отливом склоны. Без тропы мы постепенно сошли к средней части долины. Местами травостой совсем не было, и копыта коней цокали по такыру или топали по пылящему серозему. Жара была основательной. Хотелось пить, но запасы воды были ограничены: следовало думать и о лошадях. Аппетита из-за жажды не прорезалось, и только в полдень мы спешили, глотнули из фляжки по полкружки нагретой, с жестяным привкусом воды и поехали дальше.

К вечеру долина раздвоилась, образовав глубокое ответвление к северу, а на юге расширилась. Это была уже «наша» территория. Развьючили коней, «соорудили» на паяльной лампе немудреный ужин, выпили вдвоем здоровенный чайник чаю, напоили коней, кинули им ячменя и тут же уснули.

Утро было приятным, нежарким, хотя раскаленная за день земля не успела ночью остыть. После короткого чаепития, торопясь до восхода солнца поработать, оставили воду и поклажу под брезентом, а сами налегке в седлах пошли на пересечение долины: километров десять в одну сторону. Началась корректировка. Контурсы на карте, как выяснилось, были проведены в основном правильно, но масштаб не всегда был использован, внутри некоторых крупных контуров выделялись более мелкие. Поэтому приходилось останавливаться, прямо с седла делать описания и проводить на карте дополнительные рубежи. Неправильно проведенных границ я на карте не обнаружил и мысленно похвалил молодых специалистов, составлявших карту. В ней главное — чтобы все было правильно. В исправлении ложных границ растительного покрова и состояла главная задача корректировки. В случае чего, согласно программе, можно было просто указать на желательность дробления некоторых контуров карты. Работалось легко.

Доехав до предгорьев Туунтау, я решил, что обойдусь без Эргаша, и для ускорения работы отправил его обратно к вещам. Велел в два приема перебросить их на десять километров южнее и выбрать место для ночлега. К тому времени я намеревался сделать еще один контрольный ход, длинный, наискосок. Эргаш уехал, а я взял азимут на то место, куда он, по моим расчетам, должен был добраться, и потихоньку продолжал работу. Решил, что если доберусь до места раньше Эргаша, то поработаю еще вокруг места ночлега. Тогда успею за день «сделать» изрядный кусок долины.

Отъехав от Туунтау примерно с километр, я услышал сзади свист. Обернулся. С гор спускалась отара овец, и мне повистел один из чабанов. Я решил расспросить его об известных ему источниках воды и вернулся. Вблизи внешний вид чабана представлял собой ослепительное зрелище! Огромная клетчатая чалма, темное худощавое лицо с узкими живыми глазами и маленькой бородкой, красный полосатый халат, в вырезе которого виднелась коричневая от загара грудь. Пояс, голубые штаны, заправленные в

сыромятные пехи (сапоги) с загнутыми вверх носами, медные стремена... Но главное — пояс. Чего на нем только не было! Большой нож в чехле, кремь и огниво, мешочек с трупом, что-то еще, даже карандаш с одной стороны. С другого бока на поясе крепилась обшитая сукном трофейная немецкая фляжка. За спиной — ружье. Хорош!

Поздоровались. По-русски чабан говорил вполне сносно. Из разговора выяснилось, что гонят они скот из Узбекистана, про здешнюю воду знают мало, но от товарищей слышали о роднике возле перевала Кунятеба, это к югу вдоль хребта, они к вечеру хотят добраться туда. Знают также про колодец возле Тулхара, это тоже к югу, там стойбище должно быть. Этого им для водопоя хватит на неделю, а потом трава совсем кончится и они уйдут в горы. Узнав, чем я занимаюсь, они удивились тому, что я один, и пришлось объяснять ситуацию. Потом чабаны угостили меня чаляпом — водой, смешанной с кислым молоком. Наливали из бурдюка, на вид далеко не стерильного, но я хотел пить, и питье оказалось вкусным и почему-то прохладным. На том и расстались. Я вернулся на трассу корректировки, потеряв на этой встрече более часа.

Когда солнце клонилось за Туюнтау, я добрался до условленного места, Эргаша нигде не было. Я стал вспоминать подробности нашего с ним разговора: точно здесь, как раз десять километров южнее нашего прежнего ночлега. Если Эргаш ошибся в расстоянии, то он с равным успехом мог быть и севернее, и южнее от меня. Стало не по себе, от волнения захотел пить. В бутылке, сунутой в хурджум, плескалось граммов двести воды. Решил приберечь ее. Поехал сначала к месту нашего старого ночлега. Вдоль долины, насколько хватало глаз, Эргаша видно не было. К месту подъехал уже почти в темноте. Наша стоянка была пуста. Тогда, пока еще видно что-то, поехал обратно, но темнота на юге спускается быстро, и мне пришлось ночевать на теплой земле, подложив под голову седло. Утром чуть свет оглянулся... коня рядом не было. Испугался, вскочил, позвал его свистом — никакого впечатления. Только когда рассвело чуть больше, я увидел его на шлейфе склона. Он что-то объедал на скудном пастбище. Скормив коню на радостях два сухаря, оседлал его и быстро поехал на юг.

Жажда (из дневника, 12—17 мая)

Три дня то совсем нет воды, или ее совсем мало, да и та, что попадает, горька и зелена, как трава на лугу.

Марко Поло

Эргаша я разыскал в знойный полдень. Он проскочил условленное место километров на десять, да еще забрался с конем в долинку. Вот если бы я сказал ему, чтобы он ехал в сторону Шаартуза два часа, и дал бы ему часы, он попал бы в нужное место. А так понятие «километр» ему не очень ясно. А в долинку он забрался потому, что там трава для коней лучше. Называется, сэкономил я время. Сам виноват во всем.

Потерю времени мы компенсировали усиленной работой. Долина стала еще шире, и за день я успевал сделать всего два контрольных хода: туда прямо и обратно наискосок. Так мы проработали еще три дня. За это время канистры полностью, а фляги довольно существенно облегчились.

Однажды утром Эргаш оставил одну флягу с водой раскрытой, конь потянулся к воде, толкнул флягу, и, пока ее подхватывали, воды в ней осталось совсем мало. Ругаясь, Эргаш налил лошадям из другой фляги, но они отвернулись. Заглянув во флягу, Эргаш ахнул: вода зацвела. Положение сложилось неважное. Я рассчитывал через пару дней выйти на Тулхарский колодец. Собственно, и воду-то расходовали в расчете на него. Но теперь надо было очень спешить туда: воды почти нет. Мы слили что было в одну бутылку на двоих, а остальное споили лошадям. Съели по сухарю, выпили по глотку и выехали, имея на всех чуть больше стакана теплой водицы.

Тулхар был как раз на южном абрисе карты. Решил: у колодца мы заправимся водой, а работу будем выполнять при движении на север. Разницы никакой. Ехали по азимуту и к вечеру прибыли. Тулхар был необитаем: пара пустых кибиток, следы овечьего стойбища... и никакого колодца. Потом Эргаш колодец разыскал, но тот был пуст: ведро поднимало только песок. Стало ясно, почему Тулхар покинут.

Вот теперь надо было что-то предпринимать, и срочно. Воды не осталось совсем. Выхода было два. Первый: ехать из Тулхара на юго-восток к Шаартузу, обогнув Аруктау с юга, вернуться вдоль Кафирнигана к нашему лагерю, а потом снова возвращаться на исход-

ные позиции, обеспечив себя водой как следует. Но при этом мы потеряем дней пять, растительность окончательно выгорит и работать будет невозможно, вернее, очень трудно. Второй выход: ехать на запад к Туюнтау, к тому роднику в урочище Кунятеба, о котором говорили чабаны. Я выбрал второй вариант. Он сэкономил время, самое дефицитное сейчас, когда трава выгорала с каждым часом все больше, к тому же и мы, и кони целый день не пили. Сразу же тронулись в путь, но вскоре из-за темноты заночевали.

...Дальнейшие двое суток я вспоминаю смутно и безо всякого удовольствия. Родника мы не обнаружили. На одном месте по сырому солончаку густо рос свиной, такой солеустойчивый злачок. Солончак был истоптан овцами, и следы отары уходили на запад, в горы Туюнтау. Видимо, это была та самая отара, которую я встретил несколько дней назад. Не найдя воды, чабаны повернули отару в Узбекистан. Как видно, грунтовая вода ушла не только в Тулхаре.

Тогда мы повернули обратно в долину, двигаясь на восток. Солнце пекло. Когда добрались до Аруктау, я покрутил в тени долины пращ-термометр. Он показал 46 градусов. К концу второго сухого дня мы уже почти не разговаривали. Не было сил, язык был сух, ни о чем, кроме воды, не думалось. Лошади сначала грустно фыркали, а потом тоже замолкли. И еще ночь мы провели всухую. Кинули тент и завалились на него. Не было желания развешивать спальные мешки. Развьюченные лошади стали что-то ощипывать на горячей земле. Этим они частично утоляли жажду: ведь даже в подсохшей траве есть малость воды. Ночью я подумал, что хорошо бы выйти к тому месту, где я встретил чабанов. Тогда я сделал бы очень длинный контрольный ход, замкнул бы кое-как корректировку, а там еще за день можно добраться до лагеря. Это была бредовая мысль, она могла возникнуть только в пересохшем мозгу.

Впоследствии я не раз думал, почему мы не повернули на восток, почему не направились через хребет или в обход его к Кафирнигану? У нас не было топографических планшетов, только карта растительности, и то долины, а не гор. Высота хребтика Аруктау меньше 1000 метров, но горы незнакомые, и мы, и лошади обессилены. Почему сразу не поехали на север к лагерю? Была какая-то надежда выдержать? Или толкала в глубь зноя невыполненная работа? Не помню, чтобы я обдумывал эти варианты. Впрочем, многого не помню...

Утром взял примерный азимут на место встречи с чабанами, и мы поехали. Вообще-то это не то слово. Мы брели. Временами лошади останавливались, а мы подремывали в седлах, высыхая под палящим солнцем с каждым часом все больше. Иногда я тупо взглядывал на карту, как бы вспоминая, зачем мы здесь находимся, но ничего в карте не понимал. Пошли третьи сутки без воды.

С восходом солнца начались миражи. Собственно, они и раньше были, пока вода у нас еще не кончилась. Нагретый над землей воздух сверкал, в нем отражались горы той стороны долины, но тогда мы знали, что это мираж, а сейчас почему-то верили, что впереди много воды. Верили вопреки разуму и тут же отбрасывали иллюзии: неоткуда взяться огромным озерам в этой чертовой долине. Уже потом я вспоминал, что лошади на миражи не реагировали, им помогало ориентироваться их обоняние. Иногда сквозь дрожащий воздух противоположный хребет колебался, тени долин на глазах превращались в зеленые оазисы, и я поневоле направлял коня туда. Но потом все смещалось, оазис исчезал, и опять под ногами коней плыла или стояла на месте проклятая пустыня...

В полдень вдруг небо закрыла надвинувшаяся с юга туча. Это обнадежило: если пойдет дождь — растянем тент, соберем хоть немного воды. Я оживился (опять не то слово, но все относительно), но Эргаш грустно покачал головой. Я не понял, подумал было, что туча тоже мираж, но она опустилась... и вокруг закишела саранча. Лошади испуганно шарахнулись, но бежать им было некуда: прилетевшая из Афганистана саранча слоем покрыла землю и закишела среди редкого, полувыгоревшего травостоя. Тут же, откуда ни возмись, появилось множество фаланг. Они принялись пожирать саранчу. Весь этот кишачий и жрущий слой под копытами был омерзителен, но для выражения чувств сил не было. Мы поежали прямо по этому слою. Куда?

...Потом оказалось, что мы движемся в сторону Аруктау. Наверное, кони сами выбрали направление к лагерю. Доехать бы туда! Там Кафирниган и столько воды, что, сколько ни пей, река даже не заметит. Именно эта навязчивая мысль, что река не заметит нашего преступно-обильного водопоя, почему-то вертелась в голове. Вероятно, начинался какой-то сдвиг в психике. Потом я задремал в седле. Опять не то слово: скорее, забылся...

Кони куда-то шли. Наверное, мало что замечал и

Эргаш. Мы не потели. Сухую кожу больно жгло солнце. Потом оно стало клониться к Туюнтау. Кони все шли... Кажется, я видел сны с водой... Очнулся от ржания своего коня. Мы так привыкли к полной тишине — сами молчали, а стук копыт воспринимался как тиканье ходиков,— что я встrepенулся. Эргаш удивленно и с интересом посмотрел на коня. Заржал и его конь. Мы огляделись. Вокруг ничего. Только копошащаяся внизу масса саранчи и фаланг да темная точка где-то слева по нашему ходу, конечно, тоже мираж. Но лошади глядели именно в сторону этой точки. Туда и поехали. Кони все убыстряли шаг. Точка постепенно превращалась в некое сооружение. Это была огромная шатровая палатка...

Спасение (из дневника, 17—25 мая)

Повинуясь вдохновению, Урса, их царь и господин... вывел из глубины земли бесчисленные потоки на поверхность.

Саргон II

...Края шатровой палатки были задраны и привязаны к оттяжкам, чтобы снизу продувал ветерок. Вокруг валялись штанги, разобранные механизмы, в которых я ничего не смыслю. На тенте под палаткой лежали трое парней. Один из них, необыкновенной толщины, распевал одну и ту же фразу:

— Бээ тебя мне жизни нэээт, бээ тебя мне жизни нэээт!

При этом он давил у себя на животе фаланг и лениво сбрасывал их на тент. Оба других парня равнодушно разглядывали нас. Мы молчали. Мы были ошеломлены контрастом между нашим состоянием и благодушной беспечностью парней. Мы погибали, а они пели и разглядывали нас! Я хотел что-то сказать, но вместо голоса из горла вылетел хрип, сухой язык не подчинялся мне. Толстяк сел, глянул на нас и вдруг резко вскочил:

— Сейчас, ребята, я сейчас...— и, кинувшись к вороту колодца, стал быстро его крутить.

Мы спешили и смотрели, что будет дальше. А дальше... была вытянута на поверхность сорокалитровая запотевшая фляга. Толстяк ловко ухватил ее за скобу, легко поднял одной рукой, поставил на землю, и наши кони потянулись к ней.

— Эй, дэржи их, нэльзя им сразу, дэржи...

Выскочившие из палатки парни ухватили наших бедолаг под уздцы, но еле их удерживали. Кони тянулись к воде. И откуда сила взялась? Толстяк плеснул в два ведра воды по половинке в каждое, и я с горечью заметил вылившуюся при этом на землю струйку: вода же! Потом он зачерпнул из фляги половину пол-литровой стеклянной банки и протянул воду Эргашу, который стоял ближе. Эргаш взял воду, секунду помедлил, но потом дрожащими руками протянул ее мне. Как пил из другой банки Эргаш, я уже не видел. Выпил свою долю одним духом, не обронив ни капли, и тут же меня ударил пот, закружилась голова, и я сел наземь.

Потом парень время от времени давал нам еще по порции воды, мы молча выпивали, тяжело дышали, а потом так же молча ждали следующей порции. А он тем временем говорил нам насчет того, что они ждут караван к разобранной буровой, извинялся за несообразительность — не сразу, мол, пригляделся к нам, зато, как глянул, сразу понял, что мы «сухие». Слушал я невнимательно, больше глядел ему в руки: не даст ли еще попить. И он понемногу давал, по половине банки, объясняя, что если сразу напиться, то «сдохнешь».

— Ну, без воды скорее сдохнешь, — сказал я и удивился своему прорезавшемуся голосу и подвижному языку.

Позже я прикинул, что нас и лошадей отпаивали более часа, только потом разрешили нам пить вволю. И мы пили. Ничего вкуснее той воды, холодной, чистой, пресной, вынутой из глубоченной скважины, я в жизни не пил. Высохший организм постепенно насыщался. Потускневшие глаза Эргаша влажно поблескивали, будто у пьяного. А потом нас прорвало, и мы стали рассказывать ребятам о том, как чуть не погибли без воды. В разговоре выяснилось, что ребята бурят колодцы для скота, что за ними еще вчера должен был прибыть караван, но не пришел. Я вслух поблагодарил караванщиков под общий смех, а про себя подумал, что еще суток мы наверняка не выдержали бы.

Ребята рассказали, что находятся они в самом центре долины и что надо еще много бурить этих колодцев: долину собираются обживать. Кто-то из парней высказал опасение, что и завтра караван может не прибыть, так как суббота завтра. Я удивился: существуют ведь где-то дни недели, числа, какой-то порядок, а мы и вовсе потеряли счет времени за

последние дни. Даже спорили с Эргашем — после какого дня и где ночевали. Туман!

Толстяка звали Костей (так он назвался), сказал, что он осетин, выступал раньше в цирке, подымая зубами быка, но потом женился в райцентре и теперь работает в ирригации. Я вспомнил, как легонько, словно ведерко, вынул он флягу из скважины, и удивился тому, что тогда это не показалось мне чем-то необыкновенным: все мысли только о воде и были, только о ней... Парней звали Виктором и Валентином, один — техник, другой — «помбур». Оба они были похожи как близнецы, и все они мне тогда очень понравились.

Оживление достигло предела за ужином. Мы ели приготовленную Костей кашу, выкидывая из нее иногда вареную саранчу. Каша была удивительно вкусной. Ведь мы не ели двое суток совершенно, а если не считать позавчерашнего сухаря под остатки воды, то и целых три дня. Мы с Эргашем налегали на божественный зеленый чай и пили его до тех пор, пока не взмокли. Потом Костя пел осетинские песни, Виктор с Валентином — русские, а я так и уснул на тенте перед дастарханом. Этот вечер остался у меня в памяти как один из счастливейших в жизни...

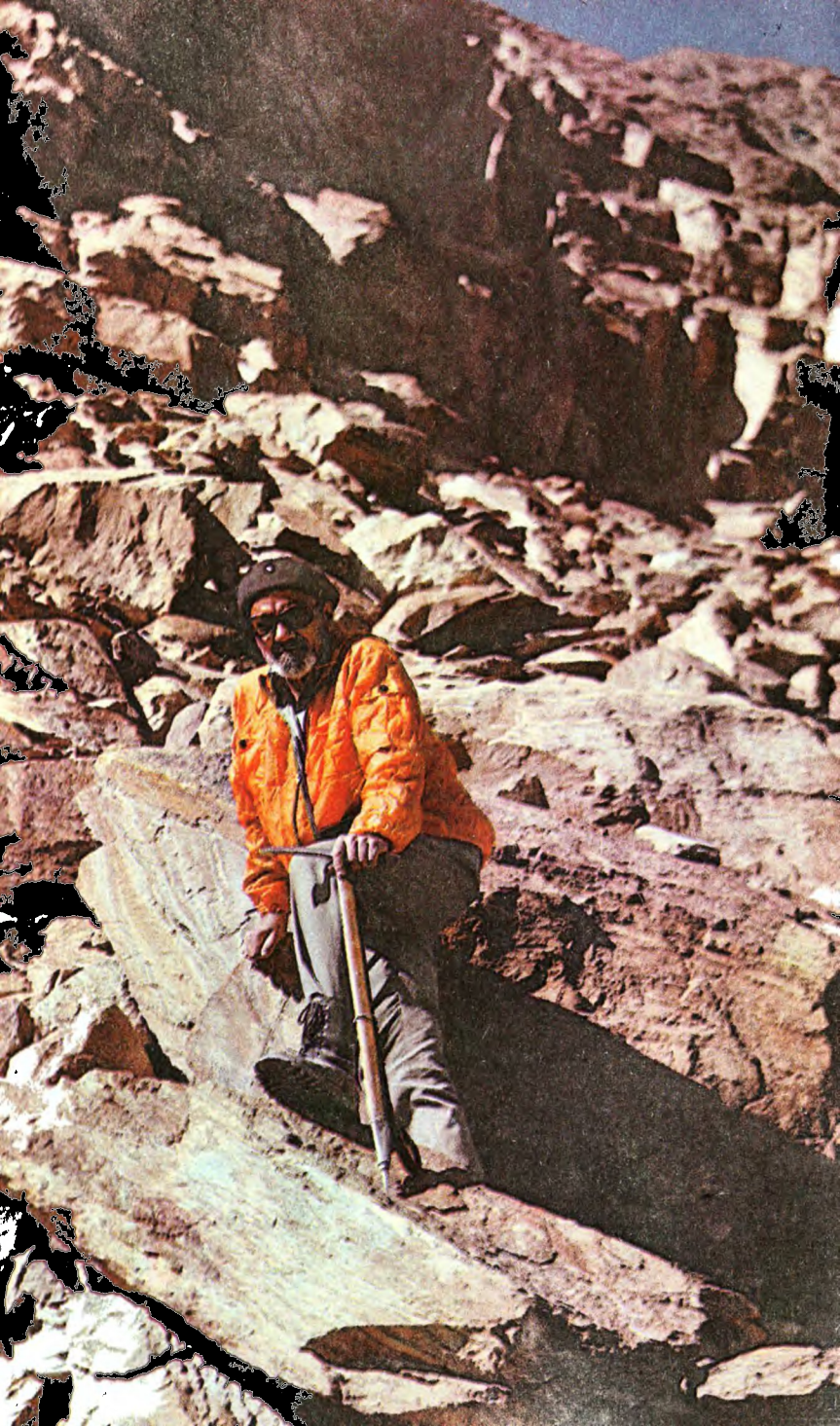
А потом все пришло в норму. За ребятами с буровой прибыл караван. Мы, хорошо вымыв фляги, наполнили их чудесной водой из скважины, я нанес ее месторасположение на карту (мало ли что!). Затем с Эргашем за трое суток, как положено, доработали оставшийся кусок карты. Календарный план был нарушен всего на сутки. Когда возвращались в лагерь, над нами все время пролетал самолет АН-2 и сыпал долину (и нас заодно) отравленным жмыхом. Это шла борьба с саранчой. Сначала кони от самолета шарахались и несли, но потом привыкли. Нам только оставалось удерживать их, чтобы они не тянулись к жмыху и не отравились. Последний десяток километров мы ехали по слою мертвой саранчи. Трава уже высохла, земля стала трескаться от жары.

Глядя на исхудавшего Эргаша, я все вспоминал, как он, изнемогая от жажды, передавал мне дрожащими руками воду, чтобы я пил первым. Тем самым он оказывал уважение старшему. И за все время — ни одного упрека (хотя упрекать меня было за что), никакого нытья. Отличный парень!

...В лагере было все в порядке. Гелий выполнил свою часть работы хорошо и без ЧП. Ребята были в курсе нашего перемещения за последние сутки: им

рассказали о нас пилоты, база которых была неподалеку. Мы поведали о наших приключениях. К вечеру нас ждал праздничный дастархан: Абдумамад расстался.

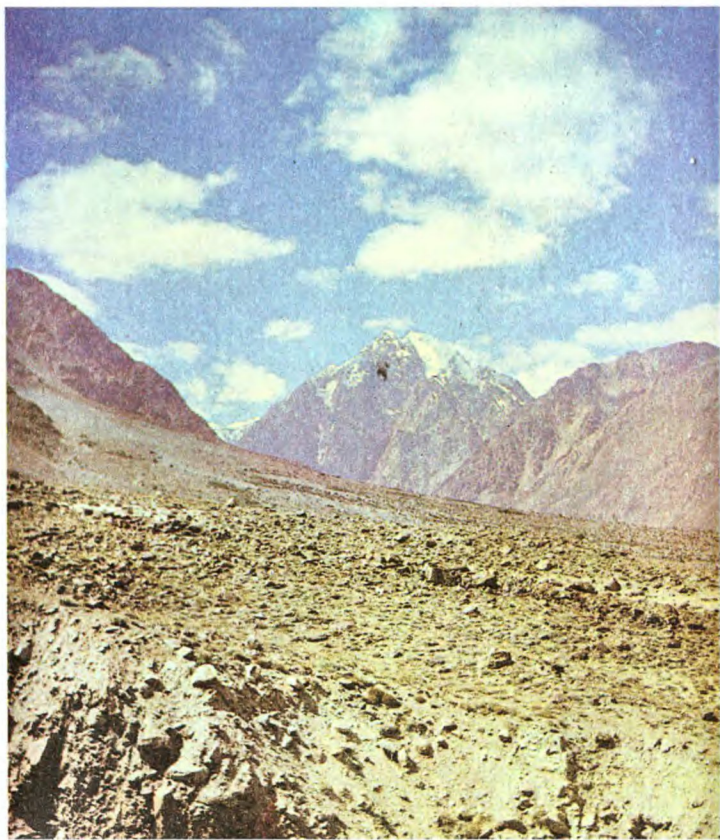
Через несколько дней закончили все дела. На обратном пути в Курган-Тюбе мы расстались с Эргашем. Позже из института я выслал ему нужные справки, и больше мы никогда не встречались. По приезду у нас оставалось еще два дня на оформление отчета и день на сборы. Абдумамад уехал учиться на курсы подрывников. Гелий подался в Каратегин с партией съемщиков. Борис уволился и поехал разыскивать ушедшую от него за год до этого жену. А мне пора было уже ехать к себе «наверх» — на Памир...



Автор на маршруте

Акантолимоны похожи на ежей

Хребты Западного Памира отличаются очень крутыми склонами



Это вжатое в щебень растение называют змееголовником

Легендарный эдельвейс выглядит довольно прозаично



В суровых условиях высокогорий многие растения приобретают подушечную форму роста. Это — одна из остролодок

За крупными камнями на четырехкилометровой высоте укрылась целая компания растений во главе с мытником



С этого крутого склона все осыпается. Язгулём





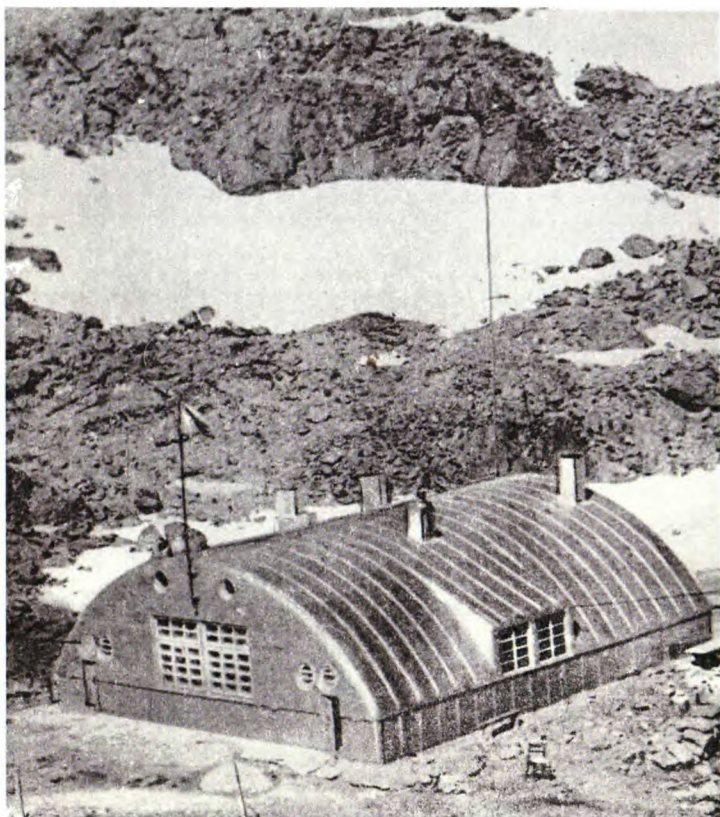
Ирхтский залив Сарезского озера

Долина Гунта. Западный Памир

Хондрилла белосемянная — обычное растение на ветробоинных галечниках и песках Вахана



Такие узкие ущелья на Памире называют «танг»
Ледниковая обсерватория им. Н. П. Горбунова на леднике Федченко
Алайская долина, река Кзылсу, вдали Заалайский хребет



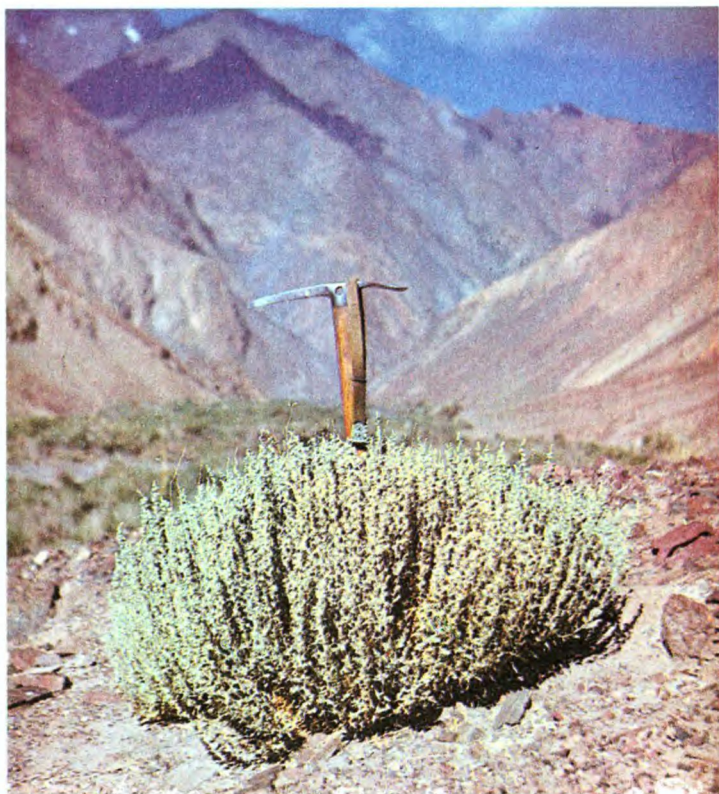




Справа стена Памирского фирнового плато, слева склоны пика Кирова, в центре ледник Трамплинный, а над ним виден пик Коммунизма (7495 м)

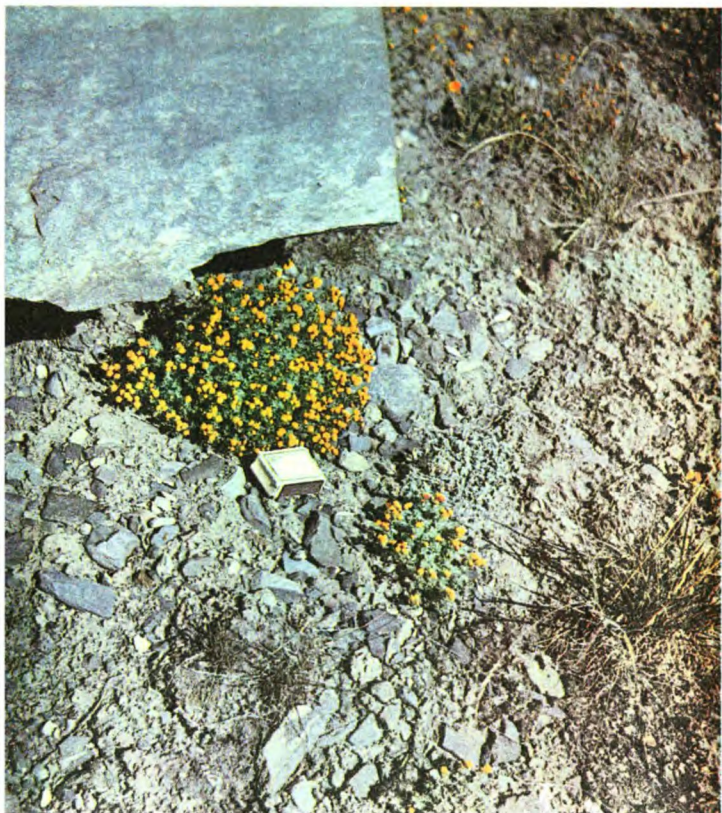
Среди просторов Памирского нагорья геоботаник выглядит подчас
одиноким путником

Полынь розовоцветковая на конусе выноса



Холодная терескеновая пустыня в котловине Каракуля

Ксилантемум памирский — обитатель сухих высокогорий
Центральной Азии

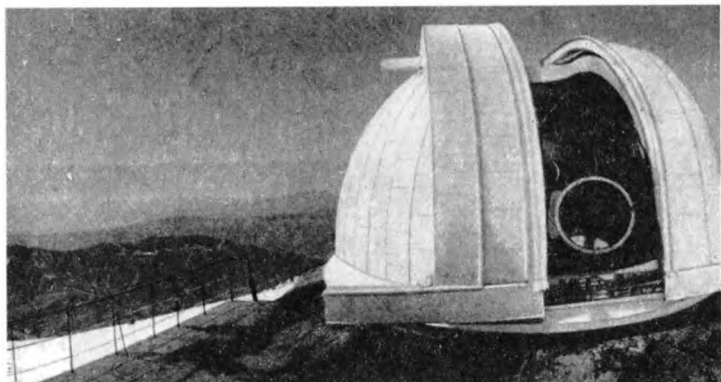


Перевал Гушхон в снегу

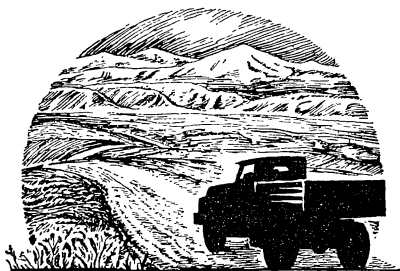
Кусты терескена — неотъемлемый элемент высокогорной пустыни Памира



Астрофизическая обсерватория «Санлок» Академии наук
Таджикистана в горах
«Экспертиза» на солончаках. Котловина Каракуля. Перевал



Новый памирский сезон



Город Ош (отвлечение)

Город Ош знаменит под именем Тахти-Сулейман... В летнее время базар в Оше бывает еженедельно по вторникам.

К. Риттер

Разные бывают города на свете: богатые и бедные, большие и малые, хранящие следы вымирающего ампира и сборища современных домов-коробок, сияющие на картах звездами и те, что не на всех картах даже маленьким пунсоном отмечены. Всякие бывают города, но таких, как город Ош, нет нигде, и сравнить его не с чем...

Разместился этот город на разного рода стыках. Сам он расположен в Киргизии, но в трех километрах к западу от него проходит граница Узбекистана. В старину же через город шли караваны из Центральной Азии. Потому-то здесь и народ разный: киргизы, узбеки, русские, украинцы, когда-то осевшие в этих краях уйгуры, выходцы из Кашгарии и Казахстана. Наверное, демографы знают, как распределяются по национальной принадлежности 250 тысяч жителей города, но на улицах здесь можно встретить кого угодно. Ош — город интернациональный.

Он приткнулся к восточному углу Ферганской котловины, в самой высокой ее части. Чуть ниже — и начинаются знойные пустыни и хлопковые плантации, чуть выше — и пробирает холодок с ледников Алайского хребта. По периферии город расплывается и незаметно переходит в сельскую местность. Тоже стык.

Только что виднелись конструкции какого-то завода, и вот уже хлопковые поля, а чуть дальше — снова городские дома. Где кончается город и начинается загородная местность, установить трудно. Ош — это и город, и деревня одновременно.

Он такой же зеленый, как и все города Ферганского оазиса. Вдоль арыков растут акации, клен-негундо, катальпы, пирамидальные тополя и чинары. То же, как везде в Средней Азии. Но здесь они не выстроены в аллеи, не подстрижены и не ухожены, а растут как бы сами по себе, в небрежении, но пышно. Такое впечатление, будто натыкали в городе что попало и где попало, все это выросло, и неожиданно образовались стихийные пейзажи, типично ошские. Ош — это заупыщенный парк.

Все города Ферганской котловины плоские. Ош отличается неповторимым силуэтом. В самом центре города возвышается солидная, видная отовсюду гора Тахта-и-Сулаймон — «Трон Сулеймана», а попросту — Сулейманка. В XVI веке шах Бабур, основатель империи Великих Моголов, построил на горе мечеть, потом завоевал Индию и там часто тосковал по ошской прохладе, о чем и написал в знаменитых «записках». Ош — город древний.

Рядом с Сулейманкой расположен ошский базар, с которым по размерам и богатству не может сравниться даже знаменитый ферганский. Положение города на стыке гор и котловины влечет сюда и горцев, и равнинных жителей. На базаре можно изучать географию, этнографию, местные ремесла и конечно же — богатейшее сельское хозяйство Ферганского оазиса. Здесь можно съесть жирный кашгарский лагман или сочный шашлык из гиссарского барашка, запить еду алайским кумысом, побрить голову без мыла у узбекского цирюльника, купить маргелланский нож и памирские джурабы, послушать наманганских зурначей, торговать за полтинник ведро местных помидоров, а при желании — узнать судьбу у гадальщика-уйгура, ловко кидающего кости. Ош — это город-базар, город-музей.

Но и это не все. Ош — это огромная перевалочная, транспортная и экспедиционная база. Здесь несколько крупных автохозяйств, многие тысячи машин, ремонтные автомастерские, и все это потому, что город находится на стыке между Памиром, Тянь-Шанем и Ферганской впадиной. Самая распространенная профессия здесь шофер. Или механик, заправщик, и все в том же автомобильном роде. В столовых, чайханах, парках то и дело слышатся разговоры о состоянии

тракта, о запчастях, горючем, грузах... Ош—город шоферов.

На втором месте—работники экспедиций. Обычно это приезжие, но немало и местных, республиканских, областных экспедиционных управлений, контор и просто баз. На улицах города можно встретить коллегу, с которым когда-то познакомился в Ленинграде, Москве, Ташкенте, Фрунзе, Вильнюсе или на горной тропе. Обросший человек с огромным рюкзаком может оказаться академиком, а милая девушка в джинсах— бывалым геологом. По городу разъезжают машины разных марок с надписью «Экспедиционная», а в спортивном магазине наряду с банальными кедами выставлены трикони, которых в Москве не всегда и сыщешь. Вычурный ящик вместо чемодана среди автобусного багажа, выцветшие штормовки на посетителях ресторана и торгующийся на базаре покупатель с ледорубом в руках—это привычные инкрустации местного колорита, показывающие, что Ош—это также город экспедиционных работников...

Наша база—это дом на дальней ошской улочке, двор, сад, склады, гараж, арык, душ и теплое гостеприимство семьи Александра Павловича Дерунова. Он и шофер, и заведующий базой. Видимся мы с ним примерно раз в год, и то только в том случае, если застану его на базе. А чаще выясняется, что Дерунов— «наверху», на Памире, стало быть, там и свидимся, если не разминемся на путях-дорогах. А разминемся—тогда уж еще через год.

...По двору бегают сыновья Дерунова. Будущие шоферы. Здесь любой мальчишка, если спросить его, кем хочет стать, почти наверняка скажет, что шофером. В Ленинграде мальчишки хотят стать моряками, в Сибири—геологами, а здесь и игры-то шоферские. Мальчишки гудят-сигналят, кричат друг другу, чтобы включали передний мост или что-нибудь в этом роде. Игра в Памирский тракт. Спрашиваю, дома ли отец?

— Спит, в ночь приехал.

Кидаю рюкзак в комнатку для приезжих сотрудников, иду в душ, долго смываю потную одурь от зноя. В стенку душа стучат. Голос Александра Павловича:

— С приездом! Когда «наверху»?

— Здравствуй! Сегодня бы.

— Сегодня вряд ли, а с утра Сушков едет, я позову его.

Потом долго сумерничаем втроем—Алеша Сушков, Саша Дерунов и я. Есть о чем поговорить. Памир большой, тракт длинный, новостей хватает. Да и

общего прошлого у нас троих — многие годы. И какие!

Обсуждаем недавнее событие в Ферганской котловине. Со склонов Алайского хребта сошел сель, разрушил часть одного поселка. Алеша только что оттуда: всю автоколонну бросили в район бедствия. Место это хорошо мне знакомо. Сель там сходит систематически. Наступает жара, в горах начинает таять выпавший за зиму снег, вода в узком ущелье поднимается сразу на десять — пятнадцать метров и начинает мыть борта. А они сложены осадочными породами. Часть бортов обрушивается в поток. Вода приобретает еще большую разрушительную силу. Это уже и не вода даже, а жидкая грязь с камнями. Она обдирает породы, как наждак, те разрушаются еще сильнее, и наконец грязе-каменный поток со скоростью курьерского поезда вырывается в котловину и с ревом сносит на своем пути буквально все. Как-то мне довелось увидеть тот поселок после разрушительного селя. Зрелище для мирного времени было потрясающим. Но потом на голом месте снова появляются какие-то постройки-временки. Меня всегда удивляла настойчивость, с которой люди обживают подножия действующих вулканов, лавиноопасные и селеопасные участки. Фатализм? Привычка? Не знаю.

Обсуждаем и другие новости. Кто-то перевернулся на тракте. Кто-то женился в третий раз («силен, бродяга!»), кто-то купил «Жигули»... Расходимся поздно. На сон остается часа три-четыре: выезжать вверх по тракту надо по холодку, чтобы до жары одолеть перевал Талдык. А там уж жары не предвидится, мотор не перегреется, там высоко...

Первый заезд (из дневника, 28 мая — 1 июня)

Доброе начало — половина дела.

Русская пословица

На Памир легче подняться по тракту именно из Оша. Здесь и движение куда более оживленное, чем из Душанбе. И перевалы почти круглый год открыты. А там как завалило в прошлом году Сагирдашт, так до сих пор пробивают дорогу. А если самолетом до Хорога, так это еще неизвестно — скорее ли. Иной раз погоды подолгу не бывает. И вместо того чтобы проделать всего 540 километров, летишь в Ош за

1000, а потом еще машиной 728 километров, если в Хорог, или 400 километров, если на биостанцию, как мне. Втрое дальше. А получается обычно быстрее. Разные километры...

Должен признаться, что, когда выпадает мне именно этот длинный путь наверх, я радуюсь. С годами мы становимся приземленнее, амплитуда наших чувств сокращается, и мы все реже впадаем в крайние состояния восторга или, скажем, ярости. Наверное, когда наступит полное равнодушие, это и будет сигналом к окончательному уходу. Так вот, этот длинный путь возвращает меня в молодые годы. Когда я в пятидесятый, может быть, раз поднимаюсь из Оша на Памир, меня охватывает чувство, определить которое трудно: где-то под солнечным сплетением возникает приятный холодок, восприятие окружающего невероятно обостряется, и появляется долго не проходящее ощущение счастья. Наверное, это потому, что мало есть на свете мест красивее тех, что пересекает Памирский тракт в северной своей части. И если эта совсем не новая для меня красота воспринимается с тем же движением души, что и четверть века назад, значит, не все потеряно, значит, жить еще стоит.

Описать красоту природы так, чтобы читатель почувствовал в точности то же, что и пишуций, невозможно. Никто не убедит меня в том, что даже самые тонкие ценители литературного мастерства Тургенева или, например, Соколова-Микитова способны при чтении их книг к адекватному сопереживанию. Нельзя красоту и объяснить. Поэтому я не буду даже и пытаться вызвать у читателей тот самый «холодок под ложечкой». Я просто протяну часть этого пути через свое географически устроенное сознание.

...Сразу же за городом начинаются желтые, выгоревшие предгорья Алайского хребта. Чтобы застать их внизу невыгоревшими, надо приезжать сюда в апреле, не позже. Плавные холмы постепенно становятся выше, склоны — круче и зеленее, и нет никакой возможности уловить, где кончились предгорья и начались горы, где желтизна выгоревшего эфемеретума перешла в сочную зелень лугов. Перевал Чийирчик уже совершенно зеленый. Но вот тракт серпантинит вниз, входит в узкую щель, поворот — и все уже не то. Вокруг раскинулись пожелтевшие под солнцем окрестности Гульчи. Из долины Акбуры мы перебрались в бассейн Гульчинки. Опять вверх. И снова желтые травостой переходят в зеленые, потом появляются кустарники и огромные лепешки стелющегося сибир-

ского можжевельника. Зелень прорывают громады горных пород. По правому борту долины появляются «семь братьев» — семь разделенных глубокими врезами рек известняковых массивов, похожих друг на друга как братья. Они стоят как бы на зеленом фундаменте заросших склонов, сходящих к реке.

Поворот — и опять все меняется. Вместо серых известняков в глаза бросаются яркие красные цветы. Тектоника искорежила их невообразимо: изогнула красные слои петлями, вздыбила, поставила их торчком, положила наклонно, обрубила где-то половину складки, и на ее месте навис над дорогой обрыв. Синее небо, красные скалы, белые облака, зеленые заросли кустарников, почти черные пятна можжевельниковых редколесий, плоские террасы, наклонные желтые конусы выноса... Эх, был бы я художником, знал бы, что надо писать!

Еще поворот — и все вновь другое. Зеленые склоны встают крутыми стенами. Тракт ползет по стене серпантинами. Мотор воет. 3000 метров: разнотравье становится сочнее и ниже, арчевники вдавливаются в землю... 3600 метров: кругом альпийская растительность. Яркие желтые лапчатки и камнеломки, мохнатые эдельвейсы, голубые горечавки, белые ясколки... Машина вылезает на перевал Талдык. Остановка: мотору надо остыть. Выхожу. Сверху серпантинные дороги образуют странный узор на зеленом фоне, будто нетвердая рука водила карандашом по пейзажу.

Едем вниз. Всего полкилометра спуска. Поворот, еще один — и вдаль открывается белая стена Заалайского хребта. Сколько уж раз вот так открывалась она, эта стена. Уже точно знаю, с какого поворота ждать этого эффекта, а сила его не уменьшается. Двухсоткилометровый хребет открывается весь и поражает своей грандиозностью, белизной, масштабами. Видны все вершины. Пик Заря Востока. Пик Курумды. Пик Ленина. Эти пики не резко выделяются над уровнем гигантского хребта. Разницу в высоте на 300—400 метров в этом масштабе высот на глаз и не уловить. Каждый раз пытаюсь представить себе, какое впечатление этот хребет произвел на Алексея Павловича Федченко, неожиданно увидевшего это грандиозное горное сооружение в 1871 году. Тогда Федченко сразу понял, что перед ним северная стена Памира. Но пройти через нее ему так и не довелось. Для такого похода отряд не был готов. Спустя годы на Памир поднялись его вдова и сын — видные исследователи-ботаники. Побольше бы такой семейственности!

Между Алайским и Заалайским хребтами легла огромная Алайская долина. Местами ее ширина достигает 25 километров. А длина — все двести. А высота дна — от 3400 до 2400 метров. Долина серовато-зеленая, цвета хаки. Это цвет здешних лугостепей. По ним петляет река Кызылсу — «красная вода». Она и правда красная. Вода моет красноцветные отложения и становится розовой, а к вечеру и вовсе красной. И снова это сочетание цветов: синее небо, белый хребет, зеленоватая долина и красная река. И всего этого так много, все так огромно, что чувствуешь себя в этом краю величия малюсеньким муравьем. Чтобы вылететь от самомнения и восстановить истинное соотношение масштабов природы и человека, людям не мешало бы почаще разглядывать себя на таком вот фоне...

Потом перевал Кызыларт — «красный перевал». Здесь красные тона и кончаются. Спуск в серую, безжизненную долину смерчей — Маркансу. Это уже Памир. Потом — плавный перевал Уйсу. За ним — котловина Каракуля, к ней мы еще вернемся. Дальше тракт взбирается на самый высокий в стране автомобильный перевал Акбайтал — 4655 метров. Потом спуск, спуск, плоская долина Южного Акбайтала. Позади 400 километров и пять перевалов. Чтобы проехать Памир весь, надо одолеть еще пять...

Справа появляется треугольная вершина пика Зор-Чечекты. Под ним белеют домики. Это биостанция. На часах полдень. Алеша высаживает меня, разворачивает машину, мы прощаемся, машина скрывается в клубах пыли, а я иду на биостанцию. И урочище, в котором она расположена, и сам поселок называются Чечекты. От тракта километра два, а над уровнем океана — почти четыре. К этому времени сотрудники уже съезжаются на полевые работы. Но этот год особенный, еще холодно, многие участки склонов еще под снегом, и станция почти необитаема. Кто еще не приехал, а кто уже уехал в поле. Только две лаборантки ютятся в натопленной комнате, а в остальных помещениях в пору волков морозить. В жару Ферганской котловины здесь верится с трудом.

Пока слегка протопил печь в своей комнате, стемнело. Столовая еще не работала. Лаборантки покормили меня чем-то горячим. Потом я влез в промерзший за зиму спальный мешок. Долго не мог согреться, но усталость одолела, и я уснул.

Проснулся от солнца. Оно светило прямо в лицо, и я пожалел, что накануне не задернул занавески. Было

очень холодно. Встал, попытался сделать зарядку, но голова была тяжелой, кружилась, и я подумал, что на этот раз высотная акклиматизация проходит трудно. Она, эта акклиматизация, вообще проходит по-разному. То ничего не чувствуешь и сразу принимаешь изрядную физическую нагрузку, то опухаешь так, что еле глаза открываются, то голова трещит. И никогда наперед не угадаешь, что на сей раз выкинет организм при первом в сезоне подъеме на высоту. На этот раз вот головокружение. И озноб тоже...

Затопил печь, довел ее чуть ли не до красного каления, но все равно мерз. Снова завалился в постель, но так и не согрелся. Когда лаборантки зашли, чтобы пригласить меня к столу, и удивились, до чего же в комнате жарко, я понял, что заболел. Сунутый под мышку термометр показал за сорок, но все равно мне было холодно. Девушки встревожились. Стали звонить в район, но им сказали, что врач выехал на дальнее стойбище. Тогда они стали лечить меня сами домашними средствами. Но лучше от этого мне не стало.

Прошел еще день, и я почувствовал, что дело совсем плохо. Временами отключался, с кем-то разговаривал, а потом выяснялось, что это бред. Очнувшись, увидел, что дежурившая возле меня лаборантка плачет, и совсем расстроился. Ближайшие планы свелись к тому, чтобы дожить до утра...

Утром в комнату весело влетел Алеша Сушков с гостинцем — пакетом помидоров. Как потом выяснилось, он делал уже второй рейс после того, как забросил меня в Чечекты. Он начал было корить за позднее потягивание в постели, потом пригляделся ко мне, к осунувшейся от бессонницы лаборантке, все понял, присвистнул, сгреб меня вместе со спальным мешком, взвалил на плечо и снес в кабину. Потом забрал в комнате мои документы и вещи, хлопнул дверцей и помчал на тракт. К обеденному времени он уже сгрузил меня в ботаническом саду. Там мигом вызвали врача. Он поманипулировал со стетоскопом и определил:

— Двустороннее воспаление легких. Немедленно или в хорогскую больницу ко мне, или самолетом в душанбинскую.

Рано утром меня положили в ЯК-40, и меньше чем через час я уже был дома. На излечение понадобилось больше десяти дней. Потом уже врач сказал:

— Вас можно в учебники включать. По всем правилам вы должны были умереть на Памире от отека

легких, а выжили потому, что у вас многолетняя адаптация к высоте. Вот так-то, батенька.

Вообще-то попасть в учебник мечтает любой исследователь, но не в таком качестве. Польщенным я себя не почувствовал.

Итак, первый заезд на Памир в тот сезон не удался.

Все мы братья (из дневника, 8 июня, отвлечение)

Этот мир — огромный гимнастический зал, куда мы пришли, чтобы стать сильными.

Вивекананда

Когда болезнь отпустила, я почувствовал себя почти счастливым: в институт ходить не надо, в горы ехать пока запрещают, но самочувствие терпимое, стало быть, есть возможность спокойно поработать. Это значит без дерганья, без всяких заседаний и бумаг и без рутинной, всегда почему-то спешной текучки. Блаженное состояние! Даже обидно, что при нормальной температуре оно почти недостижимо.

Серьезная работа требовала гербария, карт и многого другого, чего дома нет. Поэтому я засел за работу-хобби. Уже много лет я вел картотеку, в которую заносил в хронологическом порядке все известные мне путешествия на Памир. По идее со временем должна была получиться обстоятельная сводка по истории изучения Памира.

Некоторые годы в картотеке были так густо насыщены информацией, что удавалось составить текстовой обзор. А иные годы оказывались очень скудными на путешествия. Вот и тогда я уткнулся в 1915 год и с унынием рассматривал три относившиеся к нему карточки. Шла первая мировая война, и было не до путешествий.

Вот запись о поездке Д. В. Наливкина, впоследствии академика, виднейшего тектониста. Он тогда впервые попал на Памир и продолжал там исследования с перерывами до 1932 года. Экспедиция была запланирована еще до начала первой мировой войны, и Дмитрий Васильевич рискнул поехать в трудные военные годы. На карточке несколько сносок. Одна из них отсылает к тетради номер такой-то, странице такой-то. Это выписка из архива. Перечитываю и

умиляюсь простоте тогдашней отчетности. Вот авансовый отчет Наливкина, написанный осенью 1915 года: «Получил в казне Общества на проведение работ на Памирах 300 рублей серебром, работу выполнил, деньги истратил». И все. Нам бы так отчитываться!

А вот запись о путешествии агронома Д. Д. Букинича. В том же 1915 году он перёвалил из долины Бартанга в Язгулём и написал позже об этом статью. А это последняя карточка 1915 года. На ней имя загадочного Аврелия Стейна. Есть сведения о том, что в 1915 году он прошел из Кашгарии в Алайскую долину, потом на Восточный Памир, в Вахан, Шугнан, прошел к Дарвазу и даже, кажется, посетил молодое тогда Сарезское озеро. Этот Стейн — британский картограф, археолог, индолог и натуралист широкого профиля. Его труды по истории Индии и Хотана широко известны. Но я мало знал об этом исследователе, начавшем изучение Кашмира в начале века и умершем в Кабуле за год до выхода в свет своей последней статьи в 1944 году. На мой запрос Всеиндийскому географическому обществу ответа не поступило. Со вздохом отложил карточку до лучших времен и приступил к 1916 году.

Работу прервал звонок. Одеваться в жару не хотелось, и я прямо в шортах пошел к двери:

— Кто там, мужчина или женщина?

Ответил мужской голос. Я открыл дверь. Передо мной стоял человек могучего сложения. Извинившись за то, что встречаю «без галстука», пригласил гостя в квартиру.

Там разглядел его получше. Широкие плечи. Длинная седая борода. Густая грива седых волос до плеч. Внимательные глаза. Широкий нос. Сандалии на босу ногу, парусиновые брюки, похожая на «толстовку» рубаха. Очень запоминающаяся внешность.

Гость заговорил с еле заметным прибалтийским акцентом. Назвался Антоном Ивановичем, фамилию я не расслышал. Сказал, что работает в краеведческом музее, что ему для работы нужно несколько фотографий памирских ландшафтов. Я вывалил на стол грудку отпечатков, и мы стали рыться в этой неупорядоченной фототеке. Взяв один снимок, Антон Иванович спросил:

— Это Мустаг-Ата?

— Да. А вы что, видели эту вершину?

— Видел, но с другой стороны, из Кашгарии.

— О! Когда же вы там были?

— Давно. Я работал тогда в экспедиции Штейна.

— Какого Штейна? Я не слышал о таком.

— Аурель Штейн, его англичане зовут Аврелием Стейном.

Вот это да! Я-то ломаю голову над тем, как разузнать что-нибудь о Стейне, а тут прямо на дом приходит участник его экспедиции! И я засыпал гостя вопросами.

С сэром Аврелием многое прояснилось. Уроженец бедной венгерской деревушки, он получил от английского короля рыцарский титул за исторические и географические исследования в Индии и Центральной Азии. А главное — за карты окраин империи, необходимые министерству колоний.

Познакомился поближе и со своим гостем — Антоном Ивановичем. О себе он рассказывал всегда неохотно, и прошло много лет, пока у меня сложилось более или менее полное представление о его судьбе. Она поразила меня... Он оказался совершенно удивительным человеком. Тогда я не знал, что многие годы буду удивляться ему и гордиться дружбой с ним.

...Его зовут Антанас Иона Пошка. Он родился в начале века в небольшой литовской деревеньке. Грамоту освоил у деревенской бабки. Потом учился в вечерней гимназии, уехал в Каунас, поступил там в университет, получил медико-антропологическое образование. Изучал разные языки, в том числе модный тогда эсперанто. Стал большим энтузиастом движения эсперантистов. Увлёкся ездой на мотоцикле. Объехал на нем все берега Балтийского моря и добрался до Парижа. Постепенно объездил всю Западную Европу. Сообщая об этом, он добросовестно добавил: «кроме Албании и Португалии». Он вообще чрезвычайно добросовестен. В поездках встречался с интересными людьми. Виделся и беседовал с Бернардом Шоу. Побывал в США, но там ему не понравился дух стяжательства. На многие годы мотоцикл стал главным средством его передвижения. Этот двухколесный аппарат изображен на его экслибрисе.

Изучая языки, обратил внимание на элементы сходства между древним санскритом и современным литовским. Снова увлекся. Его увлечения всегда сопровождались энергичной деятельностью. Уж если изучать связь живого языка с санскритом, то надо сначала изучить его истоки, освоить основы индийской философии, а это можно хорошо сделать только в самой Индии. И он начал перемещаться по планете. Почти без средств. По пути подрабатывал на жизнь чем придется, снова садился на свой мотоцикл и мчался дальше. Иногда пересаживался на верблюда,

мула, иногда шел пешком. Болгария, Турция, Египет, Ливийская пустыня, берега Красного моря, Аравия, Палестина, Сирия, Ирак, Иран, наконец, Индия, Бомбей.

В Индии он прожил много лет. Учился у Рабиндраната Тагора, у Махатмы Ганди, у Рам-Кришны, изучал хинди, вникал в строки Вивекананды. Поступил на социологический факультет Бомбейского университета. Вот там-то он и встретился с Аврелием Стейном. Сэр Аврелий поручил Пошке собрать антропологические материалы в горах Центральной Азии. И снова в путь: пешком через Гималаи и Гиндукуш, потом Хунза, Каракорум, Хотан, Кашгария, Восточное Припамирье. Потом снова Гималаи. Познакомился с Николаем Константиновичем Рерихом. И уже самостоятельно стал изучать антропологию народов Гималайского Балтистана и Кафиристана. Потом — Индокитай, Сингапур, Андаманские острова, снова Индия...

Летели годы. Он увлекся археологией, историей древних земледельцев. Прошел Афганистан, Иран, Анатолию. Снова Болгария: раскопка пещер со стоянками древнего человека, поиски материалов о патриархе литовского культурного Возрождения Ионасе Басанавичюсе. В конце 30-х годов он вернулся в Литву и занялся публицистикой.

Написал книгу «От Балтики до Бенгалии». Каунасское издательство «Сакалас» «выбрасывало» книгу на рынок отдельными выпусками. Ими зачитывалась вся Литва. О путешествиях Антанаса Пошки взалхлеб читали и гимназисты, и солидные люди. Успех этих книг был потрясающим. Я потом расспрашивал многих пожилых литовцев: книги Пошки читали все. Даже модный в те годы Кэрвуд отошел на второй план.

Это было в тот год, когда началась война. Издательство не успело напечатать все готовые выпуски книги. Надо было уберечь ценности национального музея от отправки в Германию. Удалось. После освобождения Вильнюса они заняли свое место в экспозиции.

Потом начались путешествия в другую сторону. Коми: изучение палеонтологических остатков на реке Выми. Казахстан: изучение остатков мастодонта в обрывах Ишима и обследование неолитической стоянки на Имали-Бурлуке. Киргизия: изучение «пещеры орлов», наскальных рисунков «Сурат-Таш» и Каракамарского могильника. Узбекистан: изучение керамики эпохи шаха Бабура, обследование древних мазаров. Таджикистан (там-то мы с ним и познакомились):

работа в музеях, в археологических и антропологических экспедициях.

Снова поиски материалов о древних земледельцах, поиски связей разных культур. Поездка в Армению: походы по развалинам древних дворцов и храмов. И вновь возвращение в родной Вильнюс, вновь за письменный стол.

В поисках истины он совершенно независим и признает лишь одни факты. В погоне за ними он и перемещается в пространстве. Самобытность редко остается безнаказанной: его критикуют, иногда даже резко. А он собирает факты и ищет истину. Это всегда трудно. Связи языков и цивилизаций становятся все отчетливее, и постепенно материал объединяется подобием формулы: «Все мы братья».

Годы и скитальческий образ жизни сформировали личность. И облик. Загорелое коричневое лицо. Чуть тяжеловатая, вразвалку походка. Очень строгий взгляд. Огромная работоспособность. Нелегкий характер. Глубокий гуманизм мировоззрения удивительным образом сочетается с полным отсутствием сентиментальности. Умеет подняться над мелочами повседневности.

Он видел и знает больше, чем кто бы то ни было из знакомых мне людей, но у него нет научных титулов. Почему? Так уж сложилась жизнь. Когда-нибудь, вероятно, по материалам о нем будут писать и защищать диссертации, а сам он, видимо, никогда к ученым званиям не стремился.

Если приезжают иностранные специалисты по языкам и культурам Азии, все спрашивают «профессора Пошку». Он оживленно беседует с ними, легко переходя с языка на язык, и посмеивается над их обращением «профессор». А потом уходит к себе домой, погружается в мир книг и рукописей интереснейшей своей библиотеки («это все, что осталось после войны»). Или ковыряет лопатой землю в саду. Его глаза, видевшие почти весь мир, всегда спокойны. И сил могучих в плечах еще много. К сожалению, и лет уже немало...

Мы видимся редко, чаще переписываемся. А встречаясь, вспоминаем наше первое знакомство в Душанбе, в «год Змеи». Антон Иванович ничуть не удивляется совпадению моих поисков материала о Стейне и своего появления у меня дома. Удивить его трудно. Легко заинтересовать. А в случайном совпадении какой же интерес?

Организационные дела (из дневника, 11—12 июня)

На вас лежит ответственность за подбор людей, от которых требуется счастливое сочетание трудно совместимых качеств.

Джон Хант

Наконец-то врачи дали «добро» на выезд в горы, установилась летняя погода, и утром 11-го я был уже в Хорге.

Прежняя моя команда распалась. Напомню: Абдумад после работы на ботаническом стационаре поступил на курсы горных подрывников, Султанбек уехал учиться в Ленинабад, Рудик проходил учебную практику по геологии. Правда, осталась Зина. Она окончила университет и работала теперь в штате института. А остальные разлетелись.

Вот так всегда в экспедициях: только сработаешься с людьми, только они научатся чему-то, как кончается сезон и все получают расчет. Это потому, что многие работники экспедиций не состоят в штате учреждения. Это так называемые сезонники—сезонные рабочие, сезонные лаборанты. Кончился сезон, и каждый заново устраивает свою судьбу. А на новый сезон надо комплектовать новую команду. Огромное неудобство, но так заведено. Правда, иногда некоторые сезонники работали со мной по несколько лет кряду—те же Султанбек, Абдумад, Давлятбек. Этот контингент высоко ценится. Но основной состав все же меняется. Остаются только штатные сотрудники. Они уже давно в поле.

Часть штатных геоботаников ведет наблюдения на стационарах биологической станции. Им не надо ходить маршрутами. Но они каждый день поднимаются по одной и той же трассе на Музкольский хребет от 3800 до 4800 метров. Вдоль трассы на разных высотах расположены огороженные проволокой участки растительного покрова. На участках размещены приборы-самописцы. Приборы сами в течение суток регистрируют разные климатические показатели, надо только менять на них ленты. Там же в почву закопаны на разную глубину дюралевые трубы, в которые вставлены термометры. Рядом стоит метеорологическая будка с приборами. И на почве лежат термометры разного назначения. Целое хозяйство. Если участок не огоро-

дять, скот может растоптать приборы и повредить травостой. А он-то и является главным объектом наблюдений. На участках наблюдают ход роста и развития растений в течение всего сезона. Такая работа очень важна. Если маршрутники изучают изменения растительности в пространстве, то стационарники изучают изменения сообществ во времени. И те и другие объединены в одну геоботаническую экспедицию.

Маршрутники тоже уже в поле. Один отряд еще в мае выехал на юго-восток Памира, в район Кзыл-Рабата. Там шесть человек и машина. К этому отряду я в конце мая так и не добрался из-за болезни. Другой отряд выехал для съемки в район Каракуля. Туда я собирался заехать, как только укомплектую свой отряд. Из-за упущенного по болезни времени ехать на восток некогда, но надо. За всю экспедицию отвечать мне, и, хотя народ везде опытный, одним своим отрядом за работу экспедиции не отчитаешься. И я стал искать людей на сезонные должности.

Вообще-то это задача не очень сложная. Широкое развитие полевых исследований на Памире привело к появлению целого слоя молодежи, каждый сезон работающей или подрабатывающей в экспедициях. Зимой парни или учатся, или работают стационарно, а летом укрепляют свой бюджет в экспедициях. Это отличный контингент для набора. Этим парней не надо учить основам полевой техники: они и палатку поставят, и коней завьючат, и со снаряжением обращаться могут.

Однако на сей раз никто не пришел даже к вечеру. Я понял, что опоздал из-за болезни: основная часть сезонников уже разобрана другими экспедициями. Со мной кроме Зины был еще недавно появившийся молодой геоботаник Олег Маловато. Но рано утром я обнаружил возле своей палатки спавшего прямо на земле крепкого бородача. Пригляделся, узнал Маркелыча.

Экспедиционная жизнь породила много ярких характеров. Были и такие, как Маркелыч. Насколько я помню и насколько помнят даже самые старые памирские экспедиционники, Маркелыч существовал всегда. Он работал в экспедиции то на Ванче у горняков, то вдруг оказывался в отряде археологов, то у геологов Памирской экспедиции, то стрелял сурков в команде зоологов... Его знали все и звали просто Маркелычем.

По документам ему было 60, на вид не меньше. Очень крепкий и сильный. Седая борода, слегка отекавшее лицо, перебитый нос. Его никто не видел в

иной одежде, кроме экспедиционной: стоптанные трикони или сапоги, зеленый штормовой костюм, застиранная ковбойка. Сейчас рядом с ним лежал старый рюкзак, в котором наверняка, кроме кружки, миски, ложки и полотенца, ничего не было. Где он жил зимой? Нанимался на зиму сторожем на базу геологов. Или сколачивал стеллажи для шелкопряда где-нибудь в дарвазском колхозе. Он зимовал в Мургабе, Кулябе, на Ванче, в Каракуле. Как-то я встретил его на высокогорной метеостанции, а весной того же года он работал уже с геологами на Бартанге. Семьи у него не было, наверное, давно, если не всегда.

В трудовой книжке у Маркелыча было множество вкладышей: для записи всех его служебных перемещений места не хватало. Он отличался независимым характером. Ко всем, включая начальство, он обращался одинаково — «мой юный друг». А женщин называл «парнишами». Работал он отлично, его хвалили. Но... Маркелыч иногда запивал. Тогда ему вручали трудовую книжку и расчет «по собственному желанию», и он отправлялся дальше. Судя по тому, что он появился в нашем лагере в середине июня, что-то похожее, видимо, произошло и на этот раз.

Пока я мылся в арыке, думал о Маркелыче. Вот ведь вольная птица: куда захотел, туда и пошел. И везде ему хорошо. Полная независимость. Ничто, кроме «собственного желания», не удерживает.

Я вздохнул и стал наливать себе холодный чай. Звякнул кружкой, и Маркелыч мигом проснулся, будто и не спал. Сел, поглядел в мою сторону, сделал рукой «салют» и прохрипел:

— Привет, мой юный друг!

За завтраком я расспросил его о последней работе. Маркелыч рассказал, что работал в партии геологов, но давний его начальник, с которым у Маркелыча все было «тип-топ», уехал работать в другое место, поставили начальником какого-то «пацана-очкарика», тот выразил неудовольствие склонностью Маркелыча к фляжке, и старик ушел «по собственному желанию».

— Маркелыч, а вы когда-нибудь не «по собственному» уходили?

— Мой юный друг, никогда! Работать я умею, так кто же мне книжку портить станет, если я через месяц снова сгожусь.

И то. Хороший рабочий-полевик на Памире ценится высоко, ему многое спускается. Я вспомнил прошлый годний опыт с Филоновым, вздохнул, и Маркелыч стал первым сезонным рабочим отряда.

К обеду пришел Давлятбек. Он хорошо работал у меня в отряде несколько лет назад, поэтому встречен был радостно и тут же зачислен. К вечеру подошел сезонный лаборант. На эту должность я зачислил провалившегося на государственных экзаменах два года назад, да так и не закончившего университет волосатого парня, назвавшегося Толиком. По паспорту он был Шогульнадарамон Мамадбеков. И уже совсем в темноте в лагерь пришла машина. Из кабины вышел Александр Павлович Дерунов:

— Вот, к тебе направили. Ну как, выздоровел? Вот это удача! Мы обнялись. Теперь отряд укомплектован полностью.

На юго-восток (из дневника, 13—17 июня)

Долина Аксу перерезывает памирскую высь в поперечном направлении и разбивает ее на две части.

И. Минаев

Маркелыч оказался сущим кладом. Ему не надо было говорить, что делать. На новом месте он сразу же почувствовал себя так, будто работал у нас всю жизнь. Разобрал снаряжение, что-то починил. Утром вместе с Давлятбеком кинули жребий, кому начинать мыть посуду. Выпало ему, и он отмыл и отскреб все до блеска. Потом паковал груз, учил Давлятбека вязать узлы на тросе, ловко загрузил машину, а по приезде в Джаушангоз мигом расставил палатки по указанному стандартному плану лагеря. Потом подколотил Зине каблук, наточил ножи, и так все время. Цены нет такому рабочему.

Утром вышли в маршрут. Напросился и Маркелыч. Шел он ровно, чуть вразвалку, уверенно и неумолимо. К вечеру я убедился в том, что лаборанты вполне владеют методикой полевых работ. Неплохо работал и Толик. За работу в Джаушангозе можно было не волноваться. Распределил обязанности, расписал маршруты на неделю, проинструктировал ребят еще разок по технике безопасности, назначил старшим Олега и объявил, что утром выезжаю с Деруновым по отрядам.

Выехали мы еще в темноте. Дорога до тракта плохая, машину то и дело перекашивало на камнях, и Александр Павлович от этого страдал и морщился. Он вообще очеловечивал машины, жалел их и считал

такими же совершенными, как человек. Потом уже на тракте он весело погнался с ветерком.

За Мургабом свернули с тракта на дорогу похуже и поехали вверх по реке Аксу. Долина широкая. На больших пространствах поймы зеленели осоковые и кобрезиевые луга, сияли розовые звездочки примул. На луга напоздали сверху пологие сухие конусы выноса с терескеном и полынями. По бортам долины поднимались коричневые и черные скалы-останцы и склоны, почти доверху перекрытые осыпями. Высота здесь 4000 метров, но тепло. В кабину залетали комары.

Когда сделали остановку и вышли из кабины, комарье кинулось на нас так, что мы не успевали отмахиваться. Я глянул на Александра Павловича: у него по всей спине на штормовке плотными рядами, «плечом к плечу» сидела рыжая масса комаров. Понял, что то же самое и у меня. Хлестнул рукой себе через плечо, и вся ладонь покрылась грязной кашей из раздавленных кровососов. Хорошо еще, что через штормовку не прокусывали. Вынул из сумки диметилфталат, мы намазались немного. Полегчало. Комары пикировали с прежней яростью, но, попав в слой фталатных паров, сразу же выходили из пике.

— А что, правду говорят, что кусают не комары, а комарихи? — спросил Дерунов.

Я подтвердил.

— Они такие, — непонятно к чему проговорил Александр Павлович.

Лагерь отряда мы разыскали в устье Истыка. Начальник отряда Мухитдин Халиков объяснил, что здесь гуляет ветерок и полегче с комарьем. Лицо его было искусано и опухло, в усах висели раздавленные комары. Мухитдин сказал, что никто «не сачкует», все хотят в маршрут, чтобы уйти от комаров в высокогорье.

— Монету кидаем, кого оставлять в лагере, — усмехнулся он.

Я вынул «гостинец» — коробку с флаконами диметилфталата, и все тут же стали мазаться. Дерунов, пока не стемнело, полез с ребятами в реку с сетью. А потом до полуночи в свете фар чистили рыбу, не давали спать. Зато утром все с аппетитом хрустели жареной рыбой. Консервы уже успели порядком надоесть.

В отряде порядок был полнейший. Убедившись в этом, я сходил с Мухитдином и двумя лаборантами в маршрут по горным типчаковым степям. Это един-

ственные настоящие степи на Восточном Памире, остальные — редкотравные, из щетинистых ковылков. Некоторые геоботаники считают эти типчаковые степи реликтовыми. Полагают, что они или сохранились с доледниковых времен, как в убежище, или сформировались в среднегорьях, но оказались здесь в результате очень быстрого подъема гор. Оба варианта не нравились мне из-за обилия не поддающихся проверке неботанических предположений, и я захотел еще раз побродить по этому степному массиву.

...Степи как степи. Господствует обыкновенный типчак степной. Он растет от Венгрии до Западной Сибири, от Кавказа до Гиндукуша. Меньше всего он похож на реликт. На Западном Памире он с ковылями формирует степной пояс на высотах от 3600 до 4100 метров, в Вахане — от 3800 до 4200, а здесь — от 4000 до 4400 метров. Чем суше климат, тем выше. Встречается типчак и на других окраинах Восточного Памира. А здесь его много. С ним вместе в сообществах встречаются виды, живущие и на Западном Памире: копеечник головчатый, ячмень туркестанский, лук многолистный и прочие. Но очень много видов тибетских, куньлуньских, вообще центральноазиатских, как и положено на Восточном Памире.

— Мухитдин, как вы думаете, откуда здесь типчаковые степи?

— По-разному считают, а своего мнения у меня нет.

— А ледник здесь был, по-вашему?

— Еще какой! — И он обвел рукой, показывая на многочисленные следы бывшего оледенения, на морены, заплечики склонов и так далее.

— А когда ледник отступил, какой здесь был климат?

— Ну, — задумался Мухитдин, — влажный должен бы быть климат, циркуляция сильная, потепление шло, раз ледники таяли. Что еще? Ветры были сильные, особенно снизу, долинные из-за перепада давления... А к чему вы это спрашиваете?

— Да так, думаю.

И мы пошли дальше. Вечером Мухитдин спросил, до чего я додумался с типчаковыми степями, и я стал развивать перед ним свою модель.

...Когда-то в Евразии была единая зона степей-саванн — от Европы до Тихого океана. Поскольку на таком большом протяжении климат различался, на западном и восточном флангах зоны виды тоже были различные. И когда горы Великого альпийского пояса — от Пиренеев до Тибета — поднимались, с ними

вместе поднимались также исходные прастепные виды, различные на западе и востоке. В горах степи обособились от саванн, сформировали высотные пояса, и вдоль этих поясов шла миграция степных видов. Она шла из гор, поднявшихся раньше, в сторону более молодых гор...

— Почему?

— Потому только, что в горах, которые поднялись раньше, уже были сформированы степные сообщества, и, когда соседние горы поднимались до высоты степного пояса и если эти молодые горы контактировали со старыми, степняки из сформированных поясов двигались в сторону только что образованного высотного уровня, где сообщества еще не оформились.

— Как сообщающиеся сосуды,— заметил Мухитдин.

— Примерно. Но только все это протекало очень медленно. Так вот, сначала поднялись горы Центральной Азии—Тибет, Цинхай, Куньлунь. И движение степняков на более молодой Памир, следовательно, шло с востока. Это щетинистые ковыли или их предки. Все они приспособлены к здешнему режиму выпадения осадков. К стати, режим тогда был немного другой. А к западу от Памира сплошной цепи горных систем нет. На Кавказе сложился степной пояс своего состава, в Копетдаге тоже свой набор степняков. В нормальных условиях равнинные степные виды никак не могли бы добраться до гор Памиро-Алая и Тянь-Шаня. Но произошло оледенение, и не одно. Оно сразу сдвинуло все высотные пояса вниз, а границы широтных зон к югу. В предгорьях стало холодно, и вдоль предгорий степняки двинулись от Кавказа и Копетдага на восток.

— Почему именно туда?

— Потому, что в том же направлении распространялся сходный климатический режим. Сильное похолодание с оледенением здесь было миллиона три лет назад. Вот я и считаю, что к этому времени восточные степняки уже были на Памире, так как к тому времени Памир уже был достаточно высок (иначе не было бы оледенения) и началось иссушение климата, поскольку выросшие горы преградили свободный доступ сюда муссонов с юга. А западные степняки пришли сюда с опозданием примерно на один или два миллиона лет, когда началось общее похолодание северного полушария. А после отступления ледников они поднялись в горы. Ты сам говоришь, что, когда ледники отступают, становится теплее и влажнее. А оледенений было несколько. Так вот, когда сходило на нет предпоследнее оледенение, здесь был климат

западного типа, сюда доходили уже циклоны, и на Восточный Памир проникли и типчак, и другие западные степняки. Особенно по Пянджу—Бартангу—Мургабу—Аксу, пересекающим весь Памир. А в бессточных котловинах на севере нагорья господствовали центральноазиатские виды, туда циклоны не доходили.

— А почему это произошло именно после предпоследнего, а не после последнего оледенения?

— Сейчас скажу. А потом наступило последнее оледенение, очень холодное. Над Восточным Памиром установился мощный антициклон, область повышенного давления, и циклоны с запада сюда уже не добирались. Оледенение сгубило почти все, что не нашло убежища. Здесь же не было убежища, ты сам указывал на следы оледенения. Западные степняки убрались отсюда по долинам рек, текущих на запад, хотя бы по Пянджу, Аличуру и так далее. Там не было сплошного ледника, и степняки «переждали» там оледенение. А когда оно кончилось, то при общем потеплении они двинулись сюда, на нагорье. Так они здесь и оказались. Но когда ледники отступили, стало так сухо, а зимой так холодно, что на нагорье снова ринулись восточные степняки с Тибета и Куьлуны. Климат для них оказался вполне подходящим. А западные виды все сокращались, отступали, замещаясь тибетскими, пока не осталось вот такое пятно типчаковых степей на юго-востоке, здесь. Тут и влажнее, чем на остальной части нагорья. Это реки, текущие с Памира на юг и на запад, способствуют проникновению сюда и остатков циклонов, и муссонов.

— Что же получается? Выходит, эти степи вовсе не реликтовые?

— Конечно. Они совсем молодые, послеледниковые.

— Выходит, что и центральноазиатские виды не древнее?

— Древнее, но ненамного. Они тут примерно с середины четвертичного периода, триста тысяч лет, или даже моложе. А до этого здесь был средиземноморский режим осадков. На западе нагорья он и сейчас такой, ведь в Яшилкуле зимних осадков больше, чем летних. И там тоже есть типчак. А современный режим осадков здесь установился не раньше чем сто тысяч лет назад. В масштабе эволюции это пустяк.

— Это вы все сейчас надумали?

— Нет, давно думал, сопоставлял, и вот получается такая модель. Но ее еще проверять и проверять...

Нас позвали к ужину. Поев ухи с комарами, крепко уснули. Ночью нас разбудил милиционер. Поговорили, он спросил, не заходил ли в лагерь кто чужой. Никто не заходил. Все снова завалились спать, а Александр Павлович предложил, раз уж все равно поднялись, не ждать утра, а ехать в Каракуль сейчас, по холодку. Я согласился, мы простились с Мухитдином и уехали.

Было часа три ночи, совсем темно, и я подремывал в кабине, а Дерунов гнал машину по холоду и бескомарью.

Очнулся оттого, что Александр Павлович толкал меня в бок:

— Тихо, не оборачивайся, кто-то в кузове у нас, что делать?

— Тормозни, спросим, кто там?

— А если это тот?

— Кто тот?— не понимал я спросонья.

— Ну, кого милиционер искал. Может, бандит, палить начнет...

— Давай поглядывать каждый в свое зеркальце: если спрыгнет, нагоним на машине, а останется, тормознем у райотдела милиции. И давно он там?

— Да уж с полчаса. Я заметил, как он сзади запрыгнул, пусть, думаю, едет. А потом вспомнил про милиционера и растолкал тебя. Вдруг и правда тот.

Предположение насчет пальбы показалось мне несерьезным, но кто его знает...

— А если он нарочно прячется, а впереди автоинспектор, а ты левака везешь...

— Ну, тогда давай его брать,—обеспокоился Дерунов.—А то запомнят номер машины, мне втык будет.

Автоинспекции он явно боялся больше, чем бандита. Он резко затормозил, мы с двух сторон выскочили из кабины и впрыгнули в кузов. Там сидел мальчишка лет четырнадцати. Ну и «бандит»!

— Ты что тут делаешь?

— Я близко,—испугался пацан.—Скоро юрты будут, там отец, я в гости ездил, шел, устал, сел, а тут машина, я и прыгнул...

— Тьфу ты! Лезь в кабину, замерзнешь тут,—буркнул Дерунов, стараясь не глядеть на меня.

Через полчаса мы уже чаевали у отца «бандита». Потом поехали дальше. Еще через час Александр Павлович сказал:

— А мог и правда тот быть, ничего смешного нет...

На северо-восток (из дневника, 17—19 июня)

Это и есть Озеро Драконов... поверхность его кажется зеленою, а глубина его еще не измерена.

К. Риттер

Около полудня мы разыскали базовый лагерь Каракульского отряда. В лагере сидел лишь один парень. У него была так невероятно перекошена физиономия, что поначалу я его даже не узнал, а приглядевшись, присвистнул. Это был сам начальник отряда Виктор. Ну и ну! Глаза заплыли, он их еле открывал, нос уехал вбок, губы вывернуло в разные стороны, кожа синяя. Говорить он не мог, только тарашил глаза и невнятно бубнил.

— Да что же это с тобой?

Виктор взял лист бумаги и стал писать. Читая, я задавал вопросы, а он отвечал письменно. Через десять минут выяснилось следующее. Он поехал в Ош за продуктами, на обратном пути купил меду и заночевал на пасеке. А утром не глядя сунул зубную щетку в рот, а на ней сидела пчела. Она и ужалила его где-то во рту. Только сегодня приехал. Это надо же! Александр Павлович еще раз оглядел физиономию Виктора и поцокал языком:

— Чистая работа.

Виктор протянул мне медицинский термометр. Он показывал 39 градусов. Парню и впрямь было плохо. Съездили в поселок за врачом. Тот оглядел Виктора, выслушал меня и сказал, что с таким случаем встречается впервые, но, поскольку дыхательные пути не затекли, прямой опасности он не видит, через день-другой все пройдет.

— Будешь жить,—резюмировал Александр Павлович.

Потом мы с Деруновым поехали искать команду, выполнявшую маршрут. Виктор написал, что они работают на Кумбулаке, там же и машина отряда. Когда нашли машину, шофер стал дополнять рассказ Виктора красочными подробностями, они с Александром Павловичем остались их обсуждать, а я двинулся по склону, туда, где работали геоботаники. Сверху озеро Каракуль было до неправдоподобия красиво.

...Каракуль, или «черное озеро», оно же «озеро Драконов» у древних авторов, сегодня был действи-

тельно черным. Ветер рябил воду, и огромная акватория была похожа на черный переливчатый муар с зеленоватыми разводами. Но мне доводилось видеть в безветрие озеро и невероятно синим. А ранней весной и совершенно белым ото льда. За озером белели гребни Зулумарта, правее был виден сияющий массив пика Ленина, а совсем вправо от меня — купол пика Красных Командиров. Пики и гребни белые, а склоны серые, желтые, оранжевые, лиловые от разных пород и разной степени выветрелости. А внизу черная вода Каракуля в обрамлении зеленых лужаек и белых солончаков. Пейзаж какой-то неземной, тревожный.

Здесь самое сухое место на Памире. А может быть, и в СССР. Осадков выпадает всего около 70 миллиметров в год. И высота. Дно котловины лежит на отметке около 4000 метров. Вокруг высокие гребни. И ледники. Их здесь больше 750 квадратных километров. Котловина просторная, в поперечнике до 30 километров, и сверху видно, как по ней бродят столбы смерчей. Как привидения. А вокруг горная холодная пустыня. Свистит холодный сухой ветер. Губы сохнут. Высушенная ветром и опаленная свирепым ультрафиолетом горного солнца кожа лица саднит. Не курорт.

Увидев меня на склоне, ребята немного удивились. Дальше пошли вместе. Работали они хорошо, маршрут оказался плодотворным. К машинам спустились уже в сумерках.

Когда приехали в лагерь, там сидел мальчик-киргиз. Сказал, что Виктору стало плохо, его нашли без сознания, отвезли в больницу, а в лагере остался вот он на всякий случай... Вот так пчелка! В больнице врач сказал, что Виктору сделали переливание крови, к утру он должен вернуться.

Вечером я стал на всякий случай инструктировать старшего лаборанта, которого собирался временно оставить за начальника отряда, если болезнь Виктора затянется. Но все обошлось. Виктора привезли к обеду. Он уже не выглядел так ужасающе, даже мог кое-как говорить. Мы с ребятами еще раз сходили в короткий маршрут к пику Красных Командиров. Вечером Виктор уже сам посмеивался над своим приключением — верный признак выздоровления. Утром мы с Деруновым уехали.

По дороге он что-то ворчал в адрес Виктора невразумительное, и я подумал, что он просто жалеет потерянных суток. Но потом он сказал:

— И чего было машину в Ош гонять? Ехал бы на

полутной, не пришлось бы на пасеке ночевать. А то гоняют технику зря...

Как всегда, он жалел машину. С Виктором порядок, его можно было уже и поругать.

В Джаушангоз вернулись поздно ночью.

Джурабы (из дневника, 20—25 июня)

В одежде бадакшанцы мало отличаются от узбеков. Зимой у всех толстые цветные чулки...

И. Минаев

Пока мы с Деруновым ездили, ребята закончили съемку недостававшего на карте массива, и мне осталось только проверить ее контрольным ходом. Успешно шла и корректировка старой геоботанической карты. Ее составили в 1936 году в устаревшей ныне классификации. Возни было много, но дело двигалось. Дней через пять мы уже считали территорию достаточно изученной. Это значило, что, ткнув пальцем наугад в любое место карты, мы могли подробно рассказать о растительном покрове этого места, о почвах, урожайности травостоев, состоянии пастбищ и прочее.

Чувствуя скорый отъезд, ребята под руководством Маркелыча начали уже потихоньку паковать разную мелочь из снаряжения. Я еще раз просмотрел схему выполненных маршрутов и остался более-менее доволен. Абсолютному удовлетворению мешал только северо-западный участок на стыке Шугнанского и Южно-Аличурского хребтов, в урочище Айрансу. Там было сделано всего два маршрутных хода, и то попутных, на спуске с соседних перевалов. А я знаю, что на спуске люди движутся куда быстрее, чем на подъеме, и из-за этого не так внимательны, могут что-то упустить. В обоих случаях маршруты выполняли Олег и Толик. Порасспросил их. Все получалось правильно, и я решил утром снимать лагерь. А вечером к нам пришел гость.

Это был очень высокого роста пожилой шугнанец. Он принес на продажу джурабы. Вынул из перекинутого через плечо хурджума целую грудку, вывалил на брезент, и в глазах зарябило от красочных узоров.

Джурабы—это носки. Или чулки, если их делают длинными: иногда их вывязывают до паха. На Памире джурабы вяжут из пряжи, сделанной из окрашенной овечьей шерсти. Краску варят из трав сами, и получа-

ется она такой стойкой, что и джурабы давно изнасятся, а краски все такие же яркие.

Вяжут джурабы женщины всех возрастов, вяжут самодельными деревянными спицами, тремя, а не четырьмя, как в русских деревнях. Узор на джурабах — это не только плод фантазии мастериц, но и географический ориентир. Каждая долина, даже каждое урочище традиционно придерживается своего главного орнамента, в пределах которого уже возможны любые вариации. Поэтому по узору на джурабах да по вышивке на тюбетейке в старину узнавали, откуда человек родом. Поскольку вкус и мастерство вязальщиц разные, каждая пара джурабов совершенно индивидуальна по расцветке и вариациям орнамента. Иногда встречаются настоящие произведения искусства. Их даже посылают на выставки народного творчества, в том числе и на международные.

Принесенные джурабы в большинстве были ковровыми. Это значит, что они покрыты цветным узором снизу доверху. Такие джурабы красивее и дороже тех, где узор перемежается с белыми поперечными полосами. Я выбрал себе пару ковровых, купили джурабов и остальные. Пригласили хозяина к дастархану. Его звали Наимшо. Он сказал, что его старуха на верхнем пастбище вяжет целыми днями, а продавать некому. Узнал, что мы здесь стоим, вот пришел. Рад, что нравится. Его старуха по джурабам мастерица, хоть и злющая. Засмеялся.

Я стал расспрашивать его, из какой травы какую краску варят. Растения здесь знают по виду, а не по-латыни, поэтому я попросил распаковать гербарий, стал показывать Наимшо растения. Один раз он узнал макротомию, показал на узоре, сказал, что из нее варят красную краску, из корня. Потом показал на один очиток, из которого варят с добавкой соли фиолетовую краску. Так мы и перебирали гербарий, лист за листом...

— А эти чем крашены, мой юный друг? — кинул свои джурабы на брезент Маркелыч.

Это были самые дешевые джурабы с монотонным рисунком коричневого цвета.

— А это из арчи краска. Ягоды варим, красим, кипятим потом.

— Как из арчи? — удивился я. — А разве она здесь растет?

— Здесь нет, мы на Айрансу берем.

Я чуть не подскочил. На нашей карте нигде заросли арчи не значились. По рассказу Наимшо получалось,

что в левой составляющей долины Айрансу есть щель, где растет много арчи.

Когда довольный торгом и приемом гость ушел, я объявил, что завтра едем не на тракт, а к Айрансу и там проверяем съемку. Олег и Толик смущенно глядели в сторону. Прозевали арчевник. Это бывает, и я был далек от того, чтобы винить парней. Самому глядеть надо было.

Перед сном рассказал ребятам, как однажды мы не открыли месторождение лазурита. Работали тогда на Гарундаре, что в бассейне Шахдары. Вели геоботаническую съемку. Прошли маршрутом вверх. Можно было идти по левой составляющей реки, а можно и по правой, для ботанического профиля это безразлично. И мы пошли по левой, так как туда вела хоть и плохонькая, но тропка. А правая была с крутым откосом по борту. И без тропы. Решили по правой составляющей спуститься. Но задержались на гребне, не успели и спустились по той же самой тропке. А через несколько лет по правой составляющей открыли новое месторождение. Оно было прямо на поверхности, куски лазурита лежали на осыпи, не заметить их было нельзя. И мы тоже заметили бы... если бы прошли вниз, как намечали. Ох уж это сослагательное наклонение: если бы да кабы... И хотя открытие месторождений не входило в нашу задачу, какой прекрасный «побочный» результат получился... бы.

Наутро подъехали к Айрансу, потом пошли пешком. Арчевник нашли. Он был так мал по площади, что в масштабе нашей карты нанести его было невозможно. Большинство деревьев росло на скалах, остальные на осыпи. Всего гектаров пять. А когда-то, видно, больше было. Растут арчевники медленно, живут лет по пятьсот, а то и по тысяче, древесина плотная, смолистая, из нее и дрова на славу, и бревна на века. Сначала арчу рубили понизу, где поближе. Потом полезли с топором вверх. И остались здесь лишь такие вот клочки в труднодоступных местах.

— А чего это, мой юный друг, здесь сосна не растет?— спросил Маркелыч, прыгая с камня на камень.— Вот я на Кавказе бывал, так ее там навалом, а в Таджикистане нет, не видел.

Это уже был штрих из его биографии: я-то думал, что Маркелыч всю жизнь только на Памире и околачивался.

— Сухо здесь, вот и не растет,— отговорился я, не желая углублять тему. Сам того не зная, Маркелыч наступил на большую мозоль...

Итогом маршрута оказалась одна строчка в поконтурном паспорте: «На осыпях в диапазоне 3400—3600 метров встречаются фрагменты арчевников». И все. Между прочим, строчка факта—это совсем неплохой результат.

Маленький великий путешественник (из дневника, 26—27 июня)

Но в конечном счете, кто решает за человека, делать ему что-то или нет?

Френсис Чичестер

Чуть свет я вылез из палатки, чтобы разбудить дежурного. Зябко передернул плечами: здесь 3400 метров и даже в разгар лета ночами и поутру очень холодно. Дежурный зашевелился, и я хотел было снова нырнуть в тепло палатки, чтобы с полчаса в комфорте обдумать предстоящий день, как внимание мое привлекла фигурка человека, шагавшего по долине Джаушангоза прямо к нашему лагерю. В утренних, быстро таявших сумерках фигурка была еле различима. Гость идет!

Я быстро умылся, оделся потеплее, погрел руки у паяльной лампы, над которой колдовал дежурный. Фигурка приблизилась. Теперь хорошо был виден большой рюкзак за плечами человека, угадывался светлый головной убор. Человек шел подпрыгивая, будто с кочки на кочку перешагивал... Да это же... Мгновенное узнавание, и уже кажется, что я вижу выражение лица гостя, хотя это невозможно—за два километра. Я быстро пошел навстречу. Мы радостно поприветствовали друг друга, он немного посопровтивлялся—отдавать ли мне рюкзак, но отдал, и мы пошагали к лагерю.

Это был Анатолий Васильевич Цветаев, великий пеший путешественник, энтомолог, обладатель и составитель крупнейшей в стране коллекции бабочек, собиратель и исследователь, автор многих работ по систематике и географии бабочек, человек во многих отношениях выдающийся. Во многих, но не во внешности. Маленького роста, щуплого сложения, седой, с сухим морщинистым лицом, голубыми выцветшими глазами и вечно обгоревшим носом, в бумажных брюках и крепких ботинках на резине, в белой кепочке, ставшей серой от пыли, с вечной бамбуковой палкой, на

которую он и палатку свою ставил, и сачок привинчивал, и опирался на ходу, как на альпеншток.

Глядя на его невзрачную фигурку, трудно было поверить, что он обошел пешком тундру и тайгу, Дальний Восток и Кавказ, горы и пустыни Средней Азии, Русскую равнину, Карпаты и Урал и что жизнь его вся без остатка была посвящена одному-единственному делу — сбору и изучению бабочек Палеарктики. Не какой-то ее части, а всей Палеарктики, то есть внетропической части Старого Света — от Северной Африки и Западной Европы до Японии и от тундры до Иранского нагорья и Гималаев. Его знали все лепидоптерологи (специалисты по бабочкам или «бабочкисты», как мы их для краткости называем), все «бабочкисты» мира. Еще бы: поставить перед собой такую цель, отдать ей жизнь и приблизиться к ней как никто другой. Такой подвиг заслуживает мировой известности.

Анатолий Васильевич мигом раскинул в лагере палатку-памирку и, узнав, что мы завтра покидаем Джаушангоз, заспешил. Позавтракав, он предупредил, чтобы в случае чего его не ждали, и ушел в горы. Можно было не сомневаться, что, покуда светит солнце и летают бабочки, он в лагерь не вернется. И мы занялись своими делами, которых было невпроворот. Кроме нас с Деруновым, Цветаева никто из наших сотрудников не знал: слишком все они были молоды. Правда, Маркелыч сказал, что встречал «этого чудика» на Ванче лет десять назад, но кто он — не знает. И я стал рассказывать о нашем госте. Сейчас я могу уже довести этот рассказ до конца...

Цветаев стал собирать бабочек с 11-летнего возраста. Высшего образования по семейным обстоятельствам получить не смог. Свою карьеру «довел» до должности инженера фабрики наглядных пособий. Эта скромная должность давала ему помимо скромной зарплаты возможность ездить в командировки для сбора насекомых. Он привозил в Москву тысячи экземпляров жуков, кузнечиков, ос, стрекоз, муравьев и, конечно, бабочек. Все эти тысячи экземпляров распрямлялись, насаживались на булавки, снабжались этикетками с русскими и латинскими названиями, становились наглядным пособием для школьников и студентов. А собственный «улов» Цветаева составляли бабочки для его коллекции — те виды и серии, которых у него еще не было. А если были, тогда «улов» шел на обмен с другими лепидоптерологами. Так складывалась крупнейшая коллекция бабочек Палеарктического

биогеографического подцарства. Она складывалась и по выходе Цветаева на пенсию, когда в семейном бюджете каждый рубль был на учете.

Бывало, Анатолий Васильевич специально разыскивал нас, геоботаников, для консультации.

— Скажите, вы могли бы нанести на карту точки, где распространена хохлатка Горчакова? — спрашивал он, застенчиво улыбаясь и держа в руках какую-то самую простую, чуть ли не школьную карту Таджикистана, всю испещренную своими пометками.

— Попробуем. Давайте карту, Анатолий Васильевич.

И пока я наносил на карту точки, он рассказывал чуть ли не детективную историю о бабочке «автократоре», единственный экземпляр которой был из коллекции Санкт-Петербургского университета украден, обнаружен потом в Дрездене на международном энтомологическом аукционе и возвращен назад. На этикетке место обнаружения этого вида указано туманно, и можно так понять, что «автократор» найден не то в Ванчском хребте, не то в соседнем районе Афганистана. И живет этот вид в высокогорьях на хохлатке Горчакова...

«Автократора» Цветаев так и не нашел, нашли другие энтомологи. Зато Анатолий Васильевич в поисках его нашел множество других редких видов. Он всегда много ходит и корит тех сборщиков, которые упускают трудную, но заманчивую возможность встать пораньше, чтобы забраться в горы повыше. Весной 1968 года к нему домой началось паломничество участников Международного энтомологического конгресса в Москве. Многие лепидоптерологи хотели видеть своими глазами уникальную коллекцию и легендарного Цветаева, с которым годами шли переписка и обмен бабочками и на которого наконец-то можно было посмотреть.

Когда ему исполнилось 70 лет, он карабкался на отвесные склоны Ванчского хребта за своей добычей, пройдя перед этим 60 километров пешком под выкладкой, поскольку в тот год тоже было половодье и машины в те дни не ходили. Вернувшись со сборами в Москву, он выступил с критической статьей в специальном журнале по поводу обработки каких-то групп бабочек и снова засел за свою коллекцию.

А потом в душе Анатолия Васильевича поселилась тревога. Жил он в Перловке под Москвой, жил в деревянном двухэтажном доме, в котором ему принадлежал первый этаж. Помню, все в том доме было

обвешано огнетушителями. Шутка ли — такая коллекция, и в деревянном доме! И такая библиотека! Помимо бабочек Цветаев всю жизнь собирал книги. Он любил их, и там тоже шли обмен и покупки. На полках стояли лучшие образцы мировой прозы и поэзии, специальная литература, справочники, определители, журналы по энтомологии за последние полвека на многих языках, географические обзоры. С книгами работали: они были утыканы закладками, некоторые лежали поперек «строю» в развернутом виде. И все это в деревянном доме. Да и лет уж много. Что будет с коллекцией потом? И Анатолий Васильевич решил завещать коллекцию государству — Зоологическому музею МГУ.

Решил, и стало легче на душе. Позвал к себе в «душеприказчики» близкого по духу коллегу, и пошли они в нотариальную контору. Там с таким наследством никогда дел не имели и предложили оценить наследство в рублях. А как выразить стоимость коллекции бабочек, которую человек собирал всю жизнь? «Душеприказчик» стал объяснять нотариусу:

— Видите ли, в коллекции 100 тысяч экземпляров. Даже самая дешевая бабочка-капустница, оформленная и с этикеткой, стоит один рубль, а есть и такие бабочки, пара которых стоит 600 рублей, и, таким образом, наследство, выраженное в коллекции, стоит не менее ста тысяч рублей...

— Новыми? — ахнул нотариус.

— Конечно. Учтите также, что коллекция размещена в специальных дубовых ящиках. Их тысяча. Каждый стоит 30 рублей, итого только ящики стоят 30 тысяч, а с булавками, на которых смонтированы бабочки, по две копейки каждая булавка — 32 тысячи...

— Новыми? — потухшим голосом переспросил нотариус.

— Да. Но ценность коллекции — в ее полноте, и к поштучной стоимости она не сводится. Поэтому стоимость всей коллекции реально не менее миллиона рублей.

— Новыми, — уже бессмысленно пробормотал нотариус.

Перед ним сидел «миллионер» — сухонький седой человек с пузырями на коленях, в ситцевой рубашке и стареньком пиджаке. Он оставял государству миллионное наследство. Нотариусу будет что рассказывать своим внукам.

Через год Цветаеву выделили в Перловке сдвоенную квартиру в новом доме, куда он перевез коллек-

цию из своего пожароопасного жилища. Помогла Академия наук. И горсовет с пониманием отнесся к необычному этому случаю. Когда коллекция на новом месте была приведена в порядок, Анатолию Васильевичу исполнилось 76 лет. Через год его не стало. Крупнейшая коллекция бабочек перекочевала в МГУ. Итог жизни Цветаева оказался в надежных и благодарных руках. Коллекцию решили не растаскивать по систематическим полкам, а разместили в отдельном помещении целиком, сохранив как памятник подвижническому труду исследователя. Памятником ему будут и «Цветаевские чтения», организованные в Московском обществе испытателей природы, и виды бабочек, названные его именем.

С годами образ Анатолия Васильевича Цветаева приобретает как бы бронзовую мемориальную четкость. А я все вижу его застенчивую улыбку и слышу вопрос:

— Не знаете ли, где кроме Хас-Хорога растет ферула гигантская? Однажды я там достал преинтересный экземпляр...

...Цветаев вернулся к ночи, усталый до предела, но довольный. Сказал, что с нами не поедет, остается здесь, чтобы основательно облазить окрестные ущелья, по соседству с которыми он что-то нашел. Ребята были с Анатолием Васильевичем почтительны и поглядывали на него с нескрываемым любопытством.

«Смотрите, братцы, смотрите,— думал я тем временем.— Может быть, потом будете внукам рассказывать, что в молодости вы самолично видели на Памире самого Цветаева. Честное слово, самого Анатолия Васильевича Цветаева!»

На следующий день рано утром мы стали грузить машину. Цветаева в палатке уже не было. Разглядеть его в бинокль на склонах мы не смогли: наверное, уже высоко ушел. Поручив присмотр за палаткой Цветаева одному чабану, мы покинули Джаушангоз. К вечеру добрались до Чечектов. Отмылись, поужинали и разбросались по своим комнатам. Покосившись на печь в своем жилище, я вспомнил, как всего четыре недели назад я чуть не распрощался в этой комнате с жизнью. Кабы не Сушков... Вспомнил все, вздохнул и полез в спальный мешок.

«Большая мозоль» (из дневника,
28 июня — 9 июля)

Мы верим, что наши поиски приведут к пониманию, но они ведут лишь к объяснению.

Э. Чаргафф

На этот раз биологическая станция была полна народа. Во дворе вьючили ослов, чтобы забросить груз на верхний стационар. Из градирни лилась горячая вода, и на сетках отмывались корневые системы для определения фитомассы. Урчал дизель. Шумели вентиляторы вытяжных шкафов в лабораториях. В гараже и мастерских звенело железо. Возле склада сновали получающие и сдающие снаряжение сотрудники. На опытных полях ходил мираб с кетменем, регулировал полив. К главному корпусу подкатывал директорский газик. Из кухни вкусно пахло гречневой кашей. Жизнь кипела. И так она будет кипеть до начала октября. А потом наступят холода, растения покроются изморозью, народ разъедется по зимним квартирам на «камералку».

Время завтрака. Над входом в столовую висит большой бумажный транспарант, видимо оставшийся с торжеств, посвященных открытию полевого сезона. На транспаранте стихи:

Памир, с тобой я вновь,
Я без тебя не мог,
Ты — первая любовь
И ты — последний вздох.

Гм, немножко с претензией, но ничего. Молодцы. У нас в коллективе вообще полно разных талантов. В столовой на стене висят знакомые картины памирского художника Ивана Кожевникова и свежие плакаты на ватмане:

«Не ешь с конца ложки»
«Не дави на психику окружающих»

Плакаты меняют раз в месяц, и изощряются в остроумии по очереди. В углу стоят двухметровые напольные часы.

Столовая — это и конференц-зал, и кают-компания, и редакция стенной газеты. За завтраком здесь планируются дела на день, за обедом обмениваются появившимися с утра новостями, за ужином вяло подводят итоги. Или молча едят и, до изнеможения усталые, бредут спать. Работа на большой высоте трудна.

Все последующие дни ушли на организационные

дела. Захлестнувшая мир бумажно-бюрократическая выюга долетела и до высокогорий Памира. Отчеты, отправка грузов в отряды, общение с завхозом, бензин и консервы, тара и веревки — все это требует нарядов, накладных, докладных, путевок и прочих бумаг. Идет длинная бумажная война, во время которой бывают короткие бумажные перемирия и удачные бумажные компромиссы.

Потом ходил по стационарному профилю. Спорил о чем-то с работниками стационаров. Народ там сложный, самолюбивый, не без интеллектуального блеска, но часто лишенный душевной широты маршрутчиков: все им кажется, что их ущемляют. Вот и в стенгазете на меня карикатура. Похоже вышло: стою я на горах Западного Памира, гляжу в бинокль на биостанцию, между мной и Чечектами стрелка показывает расстояние в 330 километров, смотрю, а из заросшего бородой рта вылетает облачко с текстом: «Ну, там все в порядке». Понимай так, что стационарникам уделяют мало внимания.

Здесь, на высоте, официальный рабочий день длится шесть часов. Охрана труда. Профсоюз строго следит за часами. Но люди продолжают работать допоздна. Сами. Кто в лаборатории прибор монтирует, кто в библиотеке сидит, кто у себя в комнате что-то пишет или считает. Кино привозят редко, до райцентра 25 километров, а до семей наших — сотни километров. Куда деваться? Молодежь, правда, развлекается. Стучат в пинг-понг, слушают пластинки, иногда танцуют. Но большинство заняты делом. Скучают только глупые, а глупых здесь не держат. Лучшее развлечение — это свое любимое дело.

Закончив дневные дела, сажусь дома за работу. Дома — это в своей комнате на биостанции. Есть еще комната в ботаническом саду у Хорога. Там тоже дом. Да квартира в городе — дом уже настоящий. А здесь у меня письменный стол, кровать, два стула да выючный ящик. Комфорт.

Отдавленная Маркелычем «больная мозоль» садни-ла, и я пытался ее вылечить. Тогда на Айрансу я ведь ответил Маркелычу неточно. Есть сосны в горах Средней Азии. Только посажены они человеком, как говорят специалисты, интродуцированы. И растут. В Копетдаге, Памиро-Алае, на Тянь-Шане растут. А в естественной флоре сосны нет. Ни на равнинах, ни в горах. Род сосны насчитывает примерно сотню видов, распространены сосны широко, как никакая другая порода, — от Северной Америки до Европы, Сибири и

Дальнего Востока, от тайги до Гималаев. А на месте Средней и Центральной Азии, большей части Ирана и Афганистана — огромная «дыра» в ареале. Ботанико-географический парадокс. Загадка. Я обломал об нее зубы. Вопрос Маркелыча задел за живое.

Не я один зубы обломал. Раньше сосны в Средней Азии росли. Это установлено методами изучения ископаемой пыльцы. Росли и исчезли. Одни исследователи считают, что сосну в Средней Азии сгубили оледенения и засуха. Но ведь сосны в Альпах, например, растут под самыми ледниками, и отлично растут. И рядом с пустынями растут — в горах Турции или Монголии. И тоже вполне благополучно. Другие специалисты объясняют этот дефект флоры тем, что горы Средней Азии поднимались слишком быстро, сосны не выдержали этого «лифта» и вымерли. Но доказать столь быстрый рост гор геофизическими методами пока не удалось. К тому же Копетдаг, например, поднимался совсем медленно, а сосен там нет, Гималаи же поднимались быстрее всех гор, а там сосны растут. Тут что-то не то. Были и другие предположения, но все они основывались на недоказанных механизмах, действовавших будто бы в далеком прошлом.

Этим вопросом я занимался в качестве хобби, начало которому положила одна не понравившаяся мне статья. В ней как раз и утверждалось, что горы поднимались для сосны слишком быстро. Но научная добросовестность требовала после критики дать свой вариант ответа на вопрос. Вот за три года до описываемых событий я и стал этот ответ искать. Для начала принял за основу, что сосны экологически неоднородны. Это очевидно. Сосны существуют в лесах умеренного пояса, они неприхотливы и имеют огромный ареал. Есть сосны и в Средиземноморье, они приспособлены к летней засухе. Имеются сосны и в Гималаях, они приспособлены, наоборот, к летнему муссонному увлажнению, как и дальневосточные сосны. Вот если бы удалось установить, какая именно из этих групп сосен росла миллион лет назад в Средней Азии, можно было бы найти «слабое место» в экологии этих сосен и сформулировать рабочую гипотезу. Но такого материала я нигде в литературе не нашел. Тупик.

Тогда я зашел с другой стороны, с палеогеографической. Вопрос ставился так: каким из этих групп сосен больше всего благоприятствовали климатические условия прошлого Средней Азии? Легко спросить, трудно ответить. Пришлось сесть за отечественную и иностранную литературу, перебрать сотни работ, кри-

тически их оценить и тогда только составить наименее противоречивую схему эволюции климатов в горах Средней Азии. Через два года я получил удручающий результат. Оказалось, что на разных этапах развития гор существовали разные климатические условия...

Еще три миллиона лет назад муссон с Индийского океана проникал в Среднюю Азию, и тогда здесь вполне могли расти сосны гималайской группы. А потом Гималаи и Гиндукуш выросли настолько, что муссон стал проникать на север все реже и все меньшими дозами. Как и сейчас, образовался смешанный режим увлажнения, при котором здесь могли существовать и гималайские, и средиземноморские сосны. Но по мере иссякания муссона гималайских становилось все меньше, и постепенно стали господствовать сосны, способные переносить летнюю засуху, средиземноморские.

А потом начались похолодания и оледенения. С севера, через горы Сибири и Тянь-Шаня, а оттуда в Памиро-Алай проникли северные сосны. А средиземноморские остались только в Копетдаге, где оледенения не было. И опять произошла смена видов. Просто кошмар какой-то. Тоже тупик. Впрочем... тупик не абсолютный. По крайней мере теперь я знал, когда, где и какие экологические группы сосен жили в Средней Азии. Не хватало только данных анализов ископаемой пыльцы. Но шаг за шагом раскапывались и эти материалы. Я же всю полученную информацию три года кряду раскладывал по картам и схемам. Отличное хобби!

...Днем я ходил на профиль или бегал по организационным делам, а по вечерам приходил в свою комнатку и читал, чертил схемы, ломал и без того трещавшую от забот голову. Нельзя сказать, что дневные дела способствовали успешным занятиям своим хобби. И уставал, и времени часто не хватало, да и расстраиваться приходилось. Как-то в плохом состоянии духа пришел ко мне Маркелыч:

— Мой юный друг, прошу расчет, хватит с меня.

— Что так? Обидел кто?

— Никто не обидел, а скучно. Сидим на месте, все подряд бумаги пишут, а я дела переделал, отоспался, теперь к геологам пойду, у них на месте не сидят.

— Так бы и сказали, что не хотите на стационарную работу. Вот на выбор: хотите—на Каракуль, хотите—на Кзылрабат, а не хотите, так через пару недель со мной в Шугнан махнем, я здесь только дела закрою.

— Не-е, две недели я не стерплю тут. Давай, мой юный друг, Кызылрабат, я там мало был. И родник там горячий.

— Вот и хорошо, собирайтесь, утром туда едет Дерунов, дам записку к начальнику отряда Халикову, будете у него в той же должности.

— Это дело. А то тут меня эта парниша хотела приспособить травки к бумаге клеить.

— Какая парниша?

— Да Зинаида наша, чтоб ей...

Утром простились с Маркелычем, и он уехал. Я ехидно спросил Зину, как это ей в голову взбрело поставить Маркелыча на монтаж гербария. Я ни разу не видел, чтобы эту работу сносно выполняли мужчины. Тем более такой полевой волк, как Маркелыч. А теперь вот снова надо искать себе рабочего. Одно расстройство.

Потом разбирал конфликт стационарников. Снова расстроился. Потом было производственное совещание. И так все время. Но хоть час-другой, а вечерами я «поглаживал» свою «больную мозоль».

Здесь я должен забежать вперед. Распутал я этот вопрос только через несколько лет. К тому времени появилось много новых материалов, и я выстроил таблицу во весь стол. Оказалось, что сосны исчезали в Средней Азии постепенно, по мере роста гор и иссушения климата. Сначала их не стало в Тибете и Каракумах, потом они исчезли в Тянь-Шане, Афганистане, Копетдаге, потом на Памире, в Казахстане и Западной Монголии. В Монголии и Казахстане не всюду, правда, исчезли. Но еще 12 тысяч лет назад остатки сосняков сохранялись в Дарвазе, на Западном Памире и в Туркестанском хребте. А потом вдруг вымерли и они. Почему?

Я не сразу догадался посмотреть, не прибавилось ли в то время где-нибудь сосняков. Копнул литературу и увидел, что есть такие районы, где сосен было мало, а 12 тысяч лет назад стало заметно больше. Например, в Сибири, Скандинавии, на Балканах, в Карпатах, вообще всюду севернее 44—48 градусов северной широты. Это уже было кое-что. Выходит, 12 тысяч лет назад южнее 48-й параллели сосны окончательно исчезли, а севернее этой широты сосняков стало больше. Отчего бы это?

А что еще случилось в то время? Стал разбирать, и снова обнаруживались интересные факты. Как раз 12 тысяч лет назад окончательно вымерли жившие севернее 48-й параллели мамонт, шерстистый носорог

и другие крупные животные. Тогда же потеплело в Сибири. Тогда же понизился уровень Каспия, и на юге вдруг стало жарко и сухо. Почему? Что такое могло случиться, если за какую-нибудь тысячу лет радикально изменилась вся природная обстановка по обе стороны от 48-й параллели?

Осенило совершенно случайно. Однажды совсем с другой целью стал проследживать, как изменяется состав сообществ снизу вверх по одной большой долине. Изменения показали, что вслед за отступавшим когда-то ледником двигались по долине и растительные сообщества. И тепло тоже двигалось вверх... Стоп! Вот оно! Да ведь... Ну, конечно...

Ведь за отступавшим на север материковым ледником сдвигалась к северу и теплая зона. И вся барическая обстановка тоже сдвигалась, то есть поля разного атмосферного давления сдвинулись на север. И 12 тысяч лет назад, когда материковый ледник окончательно деградировал, увлажнявшая тогда Среднюю Азию ветвь циклонов сместилась к северу. Там стало теплее и влажнее. На север стала отступать и вечная мерзлота. Не выдержав этой резкой перемены, вымерли последние мамонты. Зато на освободившихся от мерзлоты пространствах расселились сосняки. А южнее стало суше и жарче, причем сразу, резко. Не выдержав этого климатического «стресса», вымерли в горах последние сосняки. Вот так это и произошло.

А потом циркуляция частично восстановилась, стало чуть влажнее. И не так жарко. Но сосняки естественным путем восстановиться уже не могли. Их место в растительном покрове заняли арчевники и другие растительные сообщества. Но если посадить в подходящем месте сосну, она вырастет. Вот и все. В общих чертах, конечно. Выходит, напрасно многие обвиняли человека в гибели мамонта, в вырубке сосен. Тогда людей было еще мало. Во всем виновата мгновенная смена циркуляции.

На это ушло несколько лет, в течение которых я предавался этому хобби. «Мозоль» утихла, и я нашел себе новое хобби. Вопрос только в том, хватит ли на него жизни?

...Между тем дел на биостанции прибавлялось, и я уже не чаял, когда вернусь на оперативную маршрутную работу. Чтобы закончить все дела разом, я решил прихватить воскресенье, подняться на самый верх профиля и доделать там оставшееся. Правда, для этого надо ночевать на большой высоте, но зато обеспечивался выигрыш во времени.

Конец «года Змеи»



Неожиданный вызов (из дневника, 11 июля)

Каждому из нас всю эту ночь
снились дьяволы.

Бенвенуто Челлини

На высоте 4750 метров плохо дышится, плохо думается, а уж спится—хуже некуда. Мало того, что мерзнешь, так еще всю ночь демоны снятся. Это от недостатка кислорода. Вчера мы вчетвером поднялись сюда в цирк под пиком Зор-Чечекты. И цирк, и пик мы называем просто Зор. Здесь находится верхний пункт наблюдений по высотному геоботаническому профилю.

Мы поднялись сюда от биостанции для того, чтобы сделать сразу несколько дел. В их числе было самое простое дело, неожиданно оказавшееся самым сложным. Нужно было слить воду из осадкомера. Это такой здоровенный бак на треноге, куда в течение года собираются выпавшие осадки. Вода в баке замерзла, его нужно было прогреть паяльной лампой, а лампа что-то закапризничала. С ней провозились битых два часа. В конце концов ржавая вода стекла в мерный сосуд, но время было потеряно, и я не успел сделать свою часть работы. Ребята ушли вниз, а я остался ночевать, чтобы не подниматься сюда лишний раз.

Надувной матрас, спальный мешок, полушубок сверху и вся одежда, в которой я влез в мешок, от холода не спасали.

Сначала ветер дул снизу, потом задул сверху от ледников, и я долго не мог уснуть. А когда наконец

отключился, начались кошмары. Они прерывались только тогда, когда перехватывало дыхание, я просыпался на миг и разворачивался к ветру другой стороной. Мешали спать и две банки консервов, сунутые вместе с флягой в спальный мешок, чтобы не замерзли.

Утром свою долю солнца я получил раньше всех. Внизу еще висели сумерки. Я согрелся и снова уснул, на этот раз без снов. Когда встал, было уже восемь часов. Впереди целый день, но дел много, особенно потягиваться было некогда. Стал готовить завтрак и вспоминать, как впервые попал я в этот цирк в 1952 году.

Быстро расправился с консервами, запил завтрак холодным чаем из фляги, пнул в сердцах окончательно сломавшуюся паяльную лампу и подумал, что ее, окаянную, еще надо тащить вниз, чтобы предъявить для списания. Потом я свернул свое хозяйство в рюкзак, оставил его возле осадкомера и налегке пошел к снежнику.

В 1952 году снежник был чуть больше, теперь он уменьшился. Летом полностью стаивать он не успевал, а зимой снова сверху сходила лавина, но каждый раз, видимо, менее грозная. Из-под снежника к полудню начинал журчать ручеек талой воды. К вечеру таяние прекращалось. Сейчас, рано утром, русло ручейка можно было угадать только по кобрезиям да снежным примулам, усевшимся на щебнистых его берегах. Растительность, как в проявителе, обрисовывала несуществующий поток. От ручейка в стороны и от снежника вниз растительность менялась. Возле края снежника шли одиночные камнеломки, мелколепестники, эдельвейсы. Ниже они сливались в группы. Ближе к руслу ручейка появлялись кобрезии, осоки и примулы, сливающиеся в сплошные лужайки. На щебнистых участках росли подушки остролодок, зибальдий, аянии, проломника. Вся эта смена подчинялась определенной закономерности, которую надо было изучить. Из года в год здесь зарисовывалась структура сливающихся водоемов травостоев, потом, уже внизу, все это анализировалось. Вчера сделать зарисовку я не успел...

Пока разматывал бечевку, вбивал колышки и ладил из всего этого новую сетку, по которой следовало делать зарисовку, солнце пригрело. Скинул ватник и в свитере почувствовал себя совсем легко. Поглядел на пик, на полосы снега, косо вытянутые сверху вниз по темным скалам, перехватил глубоким вдохом побольше воздуха и стал работать. На растениях висели

искрящиеся сосульки. Под солнцем они быстро таяли. Было безветренно, тихо, солнечно, спокойно. Где-то внизу повизгивали сурки. Работалось хорошо, и я не замечал, как летело время.

Когда закладывал сетку уже на шестой площадке, снизу вдруг заклохтали улары, захрипела альпийская галка, послышался визг сурков и звавший меня голос. Внизу появилась маленькая фигурка. Я встревожился, быстро пошел навстречу. Шел вниз, а дыхание перехватывало: высота. Это был метеоролог станции. Он сказал, что директор просит меня срочно спуститься вниз, что пришла какая-то телеграмма... нет, не из дома, служебная телеграмма... о чем именно, не знает. Он закинул за спину мой рюкзак, я с сожалением оставил на морене растянутую шпагатную сетку (к которой я в тот год так и не вернулся), и мы быстро зашагали вниз. Часа через два дошли до фанерного домика нижнего стационара. Там нас ждала машина. Еще через полчаса мы приехали в Чечекты.

Телеграмм было две. Одна из республиканской Академии наук директору биостанции Худоеру Юсуфбекову. Из-за нее-то меня и оторвали от работы в цирке Зор. Директору предписывалось выехать с необходимой группой сотрудников к 19 июля в Душанбе для обсуждения срочных изменений в перспективном плане исследований. Другая телеграмма была мне. Еще весной группа почвоведов подбивала меня встретиться в долине Ванча для совместных работ. Тогда о сроках не договаривались, а сейчас почвоведы симпровизировали — известили телеграммой, что будут ждать меня в Ванче в течение дня 14 июля. До встречи оставалось всего четыре полных дня. Даже три с половиной. Шутники! Как будто я тут сижу «до востребования»: вполне мог быть далеко от Чечектов в маршруте...

Мы с Юсуфбековым выложили обе телеграммы на стол и приступили к обсуждению ситуации. Директор считал, что мне необходимо ехать с ним в академию, и он был прав: по нашей экспедиции объем работ больше, чем по любой лаборатории. Но срывать встречу с почвоведом тоже нельзя. От нее зависела включенная в программу прокладка профилей, интересных только при совместной работе. А по времени получалась накладка.

Наконец решили, что Юсуфбеков выезжает в Душанбе через Ош и Ферганскую котловину машиной, по пути делает накопившуюся в Алайской долине и на Ошской базе работу, а я еду в Хорог попутной

машиной, оттуда лечу самолетом в Ванч, встречаюсь с почвоведом, намечаю с ними совместные профили, договариваюсь о месте новой встречи, а потом лечу в Душанбе на совещание. А когда оно кончится, я снова должен лететь в Ванч и работать там с почвоведом столько, сколько потребуется.

У этого плана был один серьезный минус. Он был рассчитан на точность сроков, а в горах соблюсти эту точность удается не всегда. Юсуфбеков предложил ехать сегодня же.

— Может быть, завтра? — сказал я.

— Нет, придется ехать сегодня.

Я побегал к своей команде. Оказалось, что Дерунов еще не вернулся из Кзылрабата. Я оставил за себя старшим Олега. Проинструктировал: как только вернется Дерунов, ехать с ним в полном составе в Хорог, оставить там на базе основной груз для последующей работы в Шугнани и не позже 20 июля быть на Ванче с машиной и ждать там меня.

Через час мы с директором выехали на тракт. Юсуфбеков в газике повернул на север, а я дождался попутного ЗИЛа, кинул в просторную кабину рюкзак, уселся рядом с водителем и поехал на юг. Спросил шофера, может ли он не останавливаться в Мургабе? Очень спешу, дескать. Тот сказал, что остановится только на заправке, сам спешит. Я откинулся на сиденье и попытался вздремнуть, чтобы «добрать» то, что недоспал ночью в цирке Зор.

По Памирскому нагорью тракт развернулся вольготно, долины широкие. То серой, пыльной, то черной асфальтовой лентой вьется тракт на четырехкилометровой высоте. В среднем. Чуть выше — чуть ниже. После Каракуля тракт «лезет» под 4700 метров на перевал Акбайтал, а потом снова спускается на четырехкилометровую высоту: чуть выше или чуть ниже. Сейчас, возле Мургаба, лента тракта спускается до 3600 метров, потом снова выползает вверх до уровня в четыре километра и чуть выше. А потом нагорье кончается, и тракт серпантинит вниз, на Западный Памир.

Пока дорога стелется по нагорью, водитель почти в любом месте может свернуть с полотна и ехать по целине, как по степи. Только вокруг не степь, а пустыня. Высокогорная. Кусты терескена, раскиданные на большом расстоянии друг от друга, щетинки галечного ковыля, обглоданные скотом, да тусклые плоские подушки акантолимонов, по которым хоть топчись, хоть машиной проезжай — все им нипочем, вот

и все, что мелькает по обе стороны тракта. Лишь возле рек видна зелень пойменных лугов, да и та с белыми пятнами солончаков. Здесь так сухо, что при огромных высотах почти нет ледников. Памирская высь — уменьшенная копия Тибета...

Сколько раз я ездил по тракту — не счесть. Приоткрыв сквозь дрему глаза, сразу, словно на знакомом троллейбусном маршруте, вижу, где именно едем. Пропустить новое трудно, можно смело спать.

Часа через четыре водитель притормозил возле чайханы в Аличуре. Пообедали. За едой водитель спросил:

— Не узнаешь меня, что ли?

Я пригляделся, но не узнал. Что-то забормотал, что припоминаю...

— А помнишь, шесть лет назад мы с тобой в Алайке в пургу в кабине ночевали?

Я вспомнил, конечно. Мы стали рассказывать друг другу главное из случившегося с нами за эти годы.

Так, за рассказами, в сумерках уже доехали до Джиландов. Нагорье позади. До Хорога осталось около 130 километров — езды часа на три. Но водитель сказал, что надо поспать: он уже шестьсот километров отмахал сегодня и делать аварию не собирается. Быть посему.

В километре от поселка бьют горячие ключи. Долина по-киргизски называется Тогуз-Булак, что значит «тысяча ключей». В нескольких местах источники забраны в цементные ванны, огороженные от ветра каменными дувалами с крышей. Подсвечивая фонариком, прочавкали по кочкарному болоту до ближайшей ванны; искупались, смыли дорожную пыль. Потом плотно поели и улеглись на койках шоферского общежития. Тепло. Но всю ночь хлопали двери, раздавались голоса подъезжавших и уезжавших водителей, и оттого спалось плохо.

Ветер называется «афганец» (из дневника, 12 июля)

Упомянутая пыль столь густо идет сверху, что даже лучи солнца не могут проникнуть густоты ея.

Рафаил Данибегов

Водитель разбудил меня, когда было еще совсем темно. Со двора общежития одна за другой с ревом выезжали машины. Мы глотнули холодного чая и тоже

выехали. Завтракать решили в Хороге. Про себя я думал даже, что если попаду на первый рейс самолета, то как бы мне не пришлось завтракать в Ванче. И только я так подумал, как почувствовал в привычном пейзаже, просматривавшемся сквозь утренние сумерки, какую-то необычность...

Здесь, на Западном Памире, тракт вилял вдоль узкого ущелья, зажатый с одной стороны рекой, а с другой — крутыми скалами и осыпями. Перспектива короткая: взгляд все время упирается в очередной близкий поворот. Так вот, эти повороты что-то уж очень силуэтно смотрелись. Сначала я отнес это за счет сумерек, но через несколько минут понял, что мои планы насчет самолета рухнули. Это был «афганец»...

Много ветров на Памире: и зимние циклоны, несущие с запада осадки, и долинные ветры, свиреподующие к верховьям рек, и горные ветры, вяло стекающие вниз по долинам, и пронзительные ледниковые ветры, и закручивающиеся столбами пыльные смерчи, но нет хуже ветра, чем «афганец». Это мы его называем «афганцем», поскольку в Среднюю Азию, в бассейн Аму, он приходит из Афганистана. А там его зовут «иранцем», а в Иране — «аравийцем», потому что туда он задувает из знойной Аравии. Через полконтинента ползет «афганец», захлестывает юг Средней Азии, предгорья, горы.

Летом в жарких равнинах Средней Азии любой ветер приносит облегчение от зноя. Кроме «афганца». Он сухой и горячий. Его движение не чувствуется, но сам воздух ощущается кожей. Кроме того, его можно увидеть. «Афганец» несет тонкую пыль. Он медленно идет стеной, и прозрачный пейзаж за двадцать минут погружается в душную серую горячую мглу. Деревьев «афганец» не рвет, крыш не сносит. Он даже не воспринимается как ветер: легкое дуновение — и мгла начинает гущаться.

«Афганец» портит жизнь надолго. Если вслед за ним не пройдет дождь, прибывающий пыль, мгла повиснет на неделю. Постепенно пыльная толща заползает из равнин в горные долины, и мгла, как жидкий раствор, начинает заполнять их снизу доверху, вторгаясь в горы серыми рукавами...

О самолете мечтать уже не приходилось. Это меняло все планы и ставило меня в цейтнот. До встречи с почвоведом оставалось два дня. Хорошо еще, что Юсуфбеков выгнал меня в дорогу вчера. Машиной до Ванча я мог доехать хоть завтра. Но только своей машиной. А попутные на отрезке тракта

от Хорога до Ванча ходят редко: на Ванч завоз идет из Душанбе, а на Хорог—из Оша. Можно прождать попутную машину сутки, а это уже обострило бы положение.

По долине Гунта мы ехали уже в густой мгле. Даже близкие гребни хребтов не просматривались. Скалы на изгибах дороги начинали вырисовываться за минуту до поворота. Водитель сбросил скорость, зажег фары. Встречные машины тоже сигналили фарами. Это продолжалось и после того, как взошло солнце. Оно только угадывалось по светлomu пятну. В Хорог приехали не через три, а через пять часов. Ехать в аэропорт было бесполезно, и водитель, сделав крюк, забросил меня в ботанический сад, проехав по новенькому железобетонному мосту через Шахдару—тому мосту, с которого все началось. В саду друзья, на помощь которых я всегда мог рассчитывать.

Что могут сделать друзья со стихийным явлением? Мглу они разогнать не могут, самолет отправить во мглу тоже не могут. Могут посочувствовать. В городах этим часто и ограничивается. На Памире сочувствие активное: если надо—расшибись в лепешку, но выручай. К счастью, никому расшибаться не пришлось. Узнав, в чем дело, Михаил Леонидович Запрягаев, исполнявший обязанности директора сада, поглядел на часы, покачал головой и... отдал мне единственную машину с условием, что завтра к вечеру она вернется. Сами, мол, пару дней перебежмся.

Пообедав, выехали. ГАЗ-51—это не ЗИЛ-130—мощь и скорость не те. Но время пока есть. За рулем Ямин Замиров—шофер ботанического сада, давний приятель. Человек он веселый, ехать с ним приятно. И спокойно: опыт у него не равнинный—памирский. К ночи Ямин сулил быть в Ванче. И добавил на всякий случай:

— Должны быть, если все будет в порядке.

За Хорогом тракт поворачивает вниз по Пянджу. Река здесь широкая, афганский берег сквозь мглу не виден, скорее угадывается. Проскакиваем кишлаки. В нормальный день они веселые: зелень садов, громкие крики ребятни. А сейчас кишлаки погрустнели. «Афганец» действует на людей угнетающе, вот ребяташки и притихли. Вместо яркой зелени—серые силуэты деревьев, как на черно-белой фотографии, снятой не в фокусе.

У Поршнева—кишлака, не уступающего по численности населения Хорогу, на тракт выскочил парень, замахал руками. Вблизи я узнал его: Леша Горин,

знакомый геолог. Сказал, что ему надо в Душанбе, получил телеграмму, что у него родился сын, а тут с утра ни одной попутной машины поймать не может, все идет по ближним целям.

— Мы только до Ванча, если хочешь, садись.

— Конечно, сяду, надоело тут сидеть, там что-нибудь подвернется.

Он как-то странно потер макушку и подмигнул Ямину. Тот разулыбался во весь рот. Потом Леша закинул в кузов здоровенный рюкзак и уселся на болтавшийся по кузову ящик с инструментами Ямина. Я пересел к нему, и мы поехали дальше.

— Ты что, знаком с Ямином? Чего это вы с ним разулыбались?

— Еще как знаком,— засмеялся Леша.— Лет пять назад проголосовал я ему на Пяндже, он посадил, едем нормально. Стал я закуривать, а он мне по башке монтировкой треснул и без памяти свез в милицию. Потом извинялся. У меня была пижонская зажигалка в виде пистолета, ну, он не разобрал и проявил бдительность.— Он снова засмеялся и потер макушку.

Впервые за сутки рассмеялся и я.

Мост через Бартанг в тот год еще не достроили. Мы повернули вверх, на паром. Там— очередь из трех машин. Машины колхозные. Ямин пошел на переговоры: он знает всех, и это помогает. Водители сдают машины назад, пропуская нас к парому. Пока Ямин подавал машину на паром, я обошел этих водителей, поздоровался, поддержал разговор, в который исподволь ввернул «рахмат»: благодарить с аффектацией здесь не принято.

За Рушаном дорога стала хуже. Кругом поля, их поливают и полотно тракта перемыто временными арыками. Машину трясет. Во мгле промоины издали не видны, и тормозить для мягкости хода Ямин часто не успевал.

Потом дорога повернула на север. Шидз—кишлак на повороте долины—проехали уже в сумерках. Здесь они короткие, и через полчаса стало совсем темно. Фары во тьме еле высвечивали узкую ленту дороги. Слева ее прижимает к скалам Пяндж. Здесь он прорывается сквозь горы узкой щелью. Когда Ямин остановил машину, чтобы залить масло, стало слышно эхо, многократно усилившее рев реки.

...Путешествие в горах не всегда поддается равнинной логике: если вы прошли три четверти пути, это вовсе не значит, что осталась всего одна четверть. Иной раз вся эта арифметика рассыпается вдребезги,

оставляя место лишь удивлению собственной наивной вере в прописные истины...

Пока доехали до Язгулёма, я успел вздремнуть в кабине. Перед мостом через Язгулём стояло несколько машин. Ямин притормозил, спросил у вышедшего из сторожки дорожного мастера, по какому случаю скопиче. Разговор шел по-шугнански, и я спросонья не сразу понял, что дело плохо. Ямин же в точности перевел, что в семи километрах ниже дорогу перекрыло обвалом.

— Вот это съездили!— охнул Леша.

Я все еще добирался после сна до сути, а Леша уже спрыгнул наземь и стал расспрашивать дорожного мастера. Выяснилось, что дорогу и завалило и смыло одновременно. Прямой связи между обрывками дороги нет. Раньше, чем через неделю, восстановить движение не обещают. Пройти там нельзя: опасно и милиция не пускает.

— Что значит не пускает?!— окончательно проснулся я.— Давай, Ямин, доедем туда, узнаем поточнее.

Однако ничего утешительного узнать не удалось. На подъезде к месту обвала нас в полной темноте остановил автоинспектор и велел возвращаться. Заночевали мы у моста, раскинув спальные мешки в кузове машины. Ночь была теплой, душевной, и мы легли поверх мешков, завернувшись в полотняные вкладыши.

Ночью нещадно кусали москиты, и спалось хуже, чем в цирке Зор. Леша сетовал на то, что накануне остриг ногти—чесаться нечем.

Гушхон (из дневника, 13—14 июля)

Крайне мучителен был также переход через Гушанский перевал по немерзлому, полуторасаженному снегу.

А. Регель

К шести утра обстановка окончательно прояснилась. Через провал дороги никого не пускали не из-за перестраховки, а потому, что сверху продолжали лететь камни. Да и без камнепада там не пройти: конгломератный склон круто уходил в кипящую воду Пянджа. Милиция вторично, и очень решительно, завернула нас восвояси.

Снова вернулись к мосту. Обсудили положение. До встречи на Ванче осталось всего два полных дня. Дорогу откроют в лучшем случае через неделю. Ждать до тех

пор нельзя: тогда ни к почвоведом в Ванч, ни в Душанбе к сроку я не попаду. Леша о недельном ожидании и думать не хотел: к жене и сыну он готов был прорываться как угодно. Это он предложил идти через перевал Гушхон. Как бы мы ни обсуждали этот нелегкий вариант, другого выхода все равно не было. Чтобы Ямину вернуться в сад к ночи, надо было поторапливаться.

Вверх по Язгулёму было еще семь километров автомобильной дороги. Она кончалась в кишлаке Матраун, куда Ямин и довез нас. Он вручил нам весь свой запас лепешек, сказал, чтобы из Ванча мы дали телеграмму в ботанический сад, помахал нам и уехал. Машина тут же исчезла во мгле.

Мы с Лешей сели на камни и подвели итоги. В течение завтрашнего дня меня будут ждать почвоведы. Нас разделяет Ванчский хребет. Он узкий, но высокий и зубчатый, как пила. Перевал Гушхон находится на высоте 4400 метров, даже чуть больше. Мы в Матрауне сидим на высоте 1750 метров. Значит, больше 2600 метров подъема. Да еще спуск потом. В одиночку через Гушхон идти нельзя. Хорошо еще, что мы вдвоем. Правда, совсем не экипированы для такого похода. На мне кирзовые ботинки на резине. И ледоруб есть: все-таки я собирался на Ванче работать. А Леша в кедах и без ледоруба: домой человек едет. Но все равно идти надо.

Закупили в магазине консервов и сигарет. Там же я узнал, что у Сафара родился еще сын. Я передал ему через завмага «салом», мы закинули за спины рюкзаки и пошли.

По пешеходному мостику перешли на правый берег. Там тропу расширили до уровня автомобильной колеи. Когда построят машинный мост, здесь можно будет ездить. А тогда мы полезли вверх по каменистой тропе. Потом спустились к пойме, снова поднялись. И так все время. Таков уж профиль дороги.

По пути нагнали почтальона, ехавшего верхом на ишаке. Из-за мглы жара спала, но мы шагали так быстро, что с нас пот ручьями лил. Узнав, что мы идем к кишлаку Джамак, а от него — на Гушхон, почтальон предложил нам помощь. Вся его почтовая поклажа умещалась в сумке, и он завьючил на животное наши рюкзаки. Дальше пошагали налегке.

В Джамак пришли к полудню. По моей просьбе почтальон забросил наши вещи во двор к Курбану, работавшему когда-то у меня в отряде погонщиком. Курбан оказался дома. Радостно поприветствовав нас,

он сказал жене, чтобы та подавала чай. Как ни спеши, а отказываться нельзя.

За чаем мы рассказали Курбану суть дела. Я сказал, что если завтра не попаду на Ванч, то послезавтра ожидающие меня люди уйдут вверх по долине и я их не найду. А надо. Курбан поцокал языком, подумал и сказал, что пойдет нас провожать. Сходил за ишаком, завьючил на него наши рюкзаки, кинул сверху свой ватный халат, взял с собой чугурчук. Чугурчук — это четырехметровый шест из рябины или кизильника, упругий и прочный. С одного конца шест заострен и заделан в железо. Получается копьё. Служит он для перехода через реки, ледники и ущелья. На него можно опереться, как на альпеншток. На леднике его несут под мышкой наперевес, и, если провалишься, чугурчук ляжет поперек трещины, не даст погибнуть. С его помощью можно перемахнуть через трехметровой ширины поток, сделав обычный прыжок с шестом. Ни один местный охотник в горы без чугурчука не ходит. Хорошая вещь, хотя и выглядит она как древнее копьё.

Мы вышли в путь. Подъем на перевал Гушхон очень крут. Он начинается прямо от Джамака. Путь идет по узкой щели, которую тоже называют Гушхон. За восемь лет до описываемых событий я ходил через этот перевал. Спуск с него приводит прямехонько к райцентру Ванч, как раз туда, куда мне нужно.

...Впереди идет ишак, за ним шагает, погоняя животное хриплым криком, Курбан. Потом иду я. Леша замыкает шествие. Это уже не одинокая пара путников, а целый караван.

Подъем трудный. Тропа фактически отсутствует. Путь идет по глыбам возле крутопадающего потока. Склоны уходят в небо почти отвесно. Мы торопимся: до темноты надо дойти до цирка, а это два километра подъема. Даже больше. Шагаем с камня на камень. Ишак выбивается из сил. Мы тоже. Солнце, наверное, уж ушло за гребень. Во мгле его не видно, но становится заметно темнее. Еще через час Курбан останавливает ишака:

— Здесь отдыхать будем. Совсем плохо видно.

До цирка не дошли. Не успели. Уже в сумерках Курбан насобирал прутиков, кизяка, камолевых дудок, приготовил чай. Пили его уже в полной темноте. Устали так, что говорить не хотелось. Спать разместились здесь же, в камнях. Я приспособился кое-как ребрами и плечами к выемкам между камнями, застегнул мешок, и это было последним осознанным действием за день...

Курбан, видно, промерз ночью в своем халате:

разбудил он нас еще в полной темноте. Пока укладывали пожитки, Курбан на остатках прутиков подогрел вчерашний чай. Когда вышли в путь, чуть прорезались сумерки. Через три часа вышли к цирку. Дальше ишаку ходу не было. Мы перевьючили рюкзаки на себя, простились с Курбаном. Он сунул Леше в руки свой чугурчук и попросил передать его в Ванче своему брату Муроду. Потом быстро погнал ишака вниз.

В цирке лежало много нестаявшего снега. До перевала было еще метров четыреста подъема по вертикали. Гребень вздымался перед нами скально-снежной стеной. Было часов десять утра. До предельного срока встречи с почвоведками оставалось часов двенадцать.

Леша проревизовал состояние своих кедров, покачал головой. Предложил мне на время похода обменять ледоруб на чугурчук: к ледорубу он больше привык. Я взял чугурчук и сразу почувствовал себя где-то в неолите.

От цирка подъем шел с нарастающей крутизной. На стенку выходили, цепляясь за породу ледорубом, чугурчуком и ногтями. Леше было особенно трудно удерживаться на крутой стенке своими стертymi кедами. Вверху порода сменялась слоистым фирном. Когда до края фирновой стенки осталось метра два, я приставил к ней чугурчук, придержал его руками, а Леша, держась за шест, стал вырубать другой рукой в снежной толще ступени. Потом он вылез наверх, радостно присвистнул и стал за чугурчук вытягивать наверх меня.

Наверху лежал ледник. Он забился во впадину между острыми зубьями гребня, оседланного скалами-жандармами. Здесь мглы не было, воздух чист и прозрачен, зубчатая пила водораздела хорошо просматривалась. Диаметр ледничка — всего метров триста, но и на нем надо неукоснительно соблюдать осторожность.

Опять на помощь пришла зрительная память. За восемь лет, прошедших с тех пор, как я был на этом ледничке, мне довелось проделать тысячи километров пути по самым разным местам. На воспоминание наслоились сотни новых впечатлений. А ведь помнил, как мы шли по леднику в прошлый раз. Вывесив перед собой чугурчук, я пошел впереди. Шагал довольно уверенно, только шест прижимал локтем покрепче. Леша шел след в след. Дистанция — метра три. У нас не было с собой даже веревки, чтобы подстраховаться.

В одном месте я провалился по пояс, но ноги

уперлись в твердую поверхность ледника. Пока я месил вокруг себя снег, выбираясь на твердый наст, Леша решил обойти меня и тоже провалился, но уже по самый рюкзак. Я ругнулся, протянул ему чугурчук и подтащил волоком к себе. Потом мы опять месили рыхлый слой снега: я — впереди, Леша — за мной. По ту сторону хребта ледничок спускался круто, но не стенкой. Край его был хорошо виден. Я сел верхом на чугурчук и, притормаживая пятками, съехал вниз. Леша съехал на боку, тормозя лопаткой ледоруба. Мы были насквозь мокрыми, и от обоих валил пар.

Вышли в пологий цирк, густо поросший хохлаткой, золотым корнем, лисохвостом, гречишником. На щебне краснели острые соцветия ревеня. Высота — 4000 метров. Ниже цирка лежала мгла «афганца». Мы разлеглись на траве, поели, покурили. Леша засунул палец в дыру, зиявшую в подошве его кеда. Я вынул из ботинок стельки, отдал ему. Зашнуровав кеды, Леша попрыгал на месте, одобрил результат. Подниматься с места нужно было, прилагая немалое усилие воли: ноги не слушались. Но идти все равно надо. Начали спуск.

Сначала под ногами шуршали кустики памирского котловника. Постепенно они затерялись среди костровой степи, круто положенной на склон. Через час степь под ногами сменилась густой порослью серебристой полыни. По мере спуска видимость становилась все хуже; мы погружались в пыльную толщу «афганца». За спешкой как-то не заметили, что журчавший рядом ручеек исчез, а когда заметили, захотелось пить. Это всегда так: хочется то, чего нет. Спускались по каменным глыбам, загрузившим дно ущелья. Иногда было слышно, как под камнями журчит вода. От этого пить хотелось еще больше, но докапываться до воды было некогда.

Еще часа через два пути вода вдруг вырвалась из-под камней. Чистая, отфильтрованная толщей осыпи, вкусная. Лежа, долго пили. А когда поднялись, увидели, что рядом стоят двое парней. Парни сказали, что кишлак Гушхон совсем рядом, только из-за пыли его не видно. Потом они пошли вверх, а мы присели, вытянули ноги и закурили.

В нижней своей части сходящее к Ванчу ущелье, тоже называющееся Гушхон, имеет правильный корытообразный профиль — верное доказательство длительного пребывания здесь ледника. Просто классическая ледниковая долина. Но чего-то в ней не хватало.

— Леша, а где же морена? — спросил я удивлен-

но.— Ведь от самого цирка мы не пересекли ни одной морены.

Леша огляделся, даже привстал, потом облегченно вздохнул и указал на склон:

— Во-он там, метрах в двухстах над нами, видишь заплечики? Это был край ледника, верхний его урез. Значит, ледник был здоровенный. Здесь до устья совсем немного осталось, следовательно, ледник выползал прямо в долину Ванча. Там и надо искать остатки морены.

— Но при отступлении ледник должен же был оставлять конечные морены, отражающие фазы отступления?

— Ну, это мелочь, они просто разрушены и погребены под свежими осыпями, их тут вон сколько...

— А если мы не обнаружим внизу остатков той большой морены?

— Тогда значит, что ее размыло водами Ванча.

— Хорошо вам, геологам и геоморфологам, живется: и есть морена—все ясно, и нет ее—тоже ясно и понятно.

— Чего это ты взъелся? Вот спустимся и увидим, что к чему.

— Да нет, это я не на тебя. Просто я хочу быть уверенным в том, что, когда пользуюсь выводами палеогеоморфологов, они окажутся надежными, а у меня такой уверенности нет.

— А в своих выводах ты всегда на сто процентов уверен?

— Да как тебе сказать...

— Вот то-то. Пошли-ка, время идет, мы сидим, а у меня сын родился, некогда дискутировать.

И мы побежали вниз. А пока прыгали с камня на камень, я думал, что надо бы сюда выбраться специально с геоморфологом и, если удастся разобраться в динамике оледенения и датировках, привязать ко всему этому характер растительности. Может получиться любопытно...

Нас напоили чаем в первой же кибитке кишлака Гушхон. После чаепития мы поговорили с хозяином о жизни столько, сколько требовало приличие, а потом перешли через мост на правый берег Ванча прямо в сады райцентра. Было 18 часов, 14 июля. В чайхане сидели почвоведы. Мой приход в срок они восприняли как нечто само собой разумеющееся.

Леша отнес к Муроду чугурчук и укатил в Душанбе на машине геологической экспедиции, а я отправил в ботанический сад телеграмму и пошел на рабочее

совещание, тут же собранное начальником почвенного отряда. Он старательно листал планы и другие бумаги, а я злился.

Больше всего на свете мне хотелось спать, но отлично выспавшиеся почвоведы готовы были «обсасывать» программу работ хоть до полуночи. Тогда я махнул на все рукой и полез в мешок. Мне еще предстояло засесть в академии.

Ванч — Душанбе (из дневника, 15—18 июля)

Долина Ванджа широка...

А. Регель

Ванч — сказочная долина. Ее называют «жемчужиной» Памира, хотя, строго говоря, это уже не совсем Памир. «Жемчужина» — это по контрасту: южнее Ванча сухо, здесь же заметно влажнее. По склонам растут кустарники, а выше по долине встречаются в боковых ущельях арчевники и заросли рябины. И вообще склоны зеленые. Вся долина выпажана древним ледником, да так гладко, что в поперечном разрезе профиль ее напоминает обыкновенное корыто. Дно плоское, склоны крутые. Широкие террасы и большие конусы выноса удачно дополняют живописность долины.

Изгибы русла реки почти не сказываются на очертаниях самой долины в плане, так она широка. Поэтому просматривается она насквозь. Снизу вверх видны белые массивы гор в бассейне ледника Федченко. Там находится и беспокойный, пульсирующий ледник Медвежий, раз в десятилетие нарушающий покой жителей Ванча, гляциологов и журналистов. А сверху вниз просматриваются заснеженные гребни афганского хребта Сафиди-Хырс, что значит «белый медведь». Правда, все это видно и просматривается в нормальных условиях, а при «афганце» дальше чем на триста метров ничего, кроме грязной мглы, и не рассмотришь. Но я знаю, что долина живописна. Мгла пройдет, а красота останется.

Ванч — богатая долина. Здесь много посевных земель, рощ грецкого ореха, шелковицы, фруктовых садов. Осенью сюда спускаются с гор медведи и кабаны. Как в Дарвазе. И жители здесь другие — не шугнанцы, а настоящие таджики, говорящие на фарси. Нет, не Памир это.

...В машину почвоведов набилось человек десять, все больше молодежь. Были и явные новички — этикие

«очаровательные розовые телята», изображавшие из себя старых полевых волков. Славные ребяташки. Ехали, тряслись на плохой дороге и лихо пели на знакомый мотив какую-то свою почвоведческую песню.

Было очень тепло. Высота здесь не доходила до 2000 метров, и не верилось ни в снега цирка Зор, ни в ледники Гушхона...

Перед сном стал намазываться диметилфталатом, оказавшимся в снаряжении почвоведов. Один из новичков спросил, зачем я это делаю. Я сказал, что без этого сожрут флеботомусы.

— Кто сожрет? — испуганно спросил паренек.

— Флеботомусы. Страшный зверь, запомни это название, сынок.

— А кто это? Я не слышал о таких.

— Это по-латыни. А по-русски — просто москиты. Флеботомус в переводе означает «тихо кусающий». Пока он тебя сосет, ты не слышишь, а чесаться начинаешь, когда он, подлец, давно уже улетел.

Паренек покивал, сам намазался и пошел разыгрывать молодую лаборантку, пугая ее флеботомусами. Ночью их и правда была тьма.

А потом начались разъезды и походы в течение двух суток кряду. Намечали по профилям точки для совместной работы. Я опять не высыпался систематически.

Однажды мы выбрались в степной пояс. Почвоведы разметили свои точки и пошли вниз. Чтобы не подниматься сюда по возвращении из Душанбе еще раз, я стал описывать на этих участках растительность. Потом поднялся еще метров на триста, вышел на пологий склон. Мгла «афганца» осталась внизу. Здесь, на высоте, воздух был чист и прозрачен. Устав на подъеме, я прилег и расслабился. Уснуть бы хоть на часок...

Небо было синим до фиолетовости. В нем летали два ястреба. Они ходили кругами, будто охраняли пространство. Степь на пологом склоне была мягкой и душистой, все перебивал пряный запах оригана. Внизу чуть слышно шумела река. Ее далекий рокот подчеркивал невероятную тишину. Я лежал в степном травостое и наслаждался. В голове ни единой мысли. Леню даже думать о том, до чего же мне хорошо. А было действительно хорошо: тишина, трава, небо, ласковое солнце и смутное ожидание счастья. Как в юности.

И тут я услышал песню. Где-то далеко от меня пел

молодой мужской голос. В тишине было слышно каждое слово. Голос пел о девушке. Таджикские слова как бы сами собой складывались в красивую вязь: «Ягодка моя, ягодка! Сладкая моя ягодка! Цветок мой весенний! Приди ко мне в дом, вдохни в него душу!» Мотив был незамысловатый, протяжный, но только так и можно петь в горах. Любая ритмичная мелодия разорвала бы тишину. Эта же вплеталась в нее, не нарушая очарования гор и покоя. В песне чудилась грусть веков. Так пели, наверное, дети бескрайних степей в глубокой древности. Так петь может только тот, перед кем огромное пространство, кому некуда спешить, кто далек от суеты и радуется подаренному судьбой дню, солнцу, горам, простору и своей любви. «Ягодка моя, ягодка...»

Я лежал не шелохнувшись и слушал. Голос удалялся, потом песня стала совсем не слышна. Но зашелестел ветерок, и в нем снова ожила та песня. Я лежал, слушал ветер-песню и думал о чем-то туманном, но близком к обобщениям. О том, что живем мы неправильно, потеряли в суете что-то большое, разучились отличать хорошее от плохого, мелочимся, огорчаемся по пустякам... А ведь годы летят, так и жизнь проскочит в спешке... А тут эти горы, как укор нашей суетливости... Страшно подумать, что можно было прожить в городе все отпущенное тебе и не увидеть гор, не ощутить масштаба нашей жизни, не услышать этой песни...

...В райцентр с верховьев Ванча я спустился 17-го. До встречи с Юсуфбековым в Душанбе осталось двое суток. Срок вполне достаточный, можно доехать и за сутки. Выезжать я решил утром 18-го и в принципе уже договорился с шофером попутной машины. Впереди был целый вечер—безумная роскошь на фоне последней недели,—и я решил зайти в районную больницу, чтобы навестить давнего своего приятеля—главврача.

«Афганец» пошел на убыль, мгла стала пожиже, но во что превратился роскошный сад больницы! Листья грецкого ореха, яблонь и тутовника пожухли и покрылись слоем пыли. Часть больных размещалась на койках прямо в саду, и пыль легла на подушки и пододеяльники. Я застал своего приятеля за спором с сестрой-хозяйкой, не желавшей менять белье досрочно. Увидев меня, главврач откровенно обрадовался, с облегчением оставил спор и повел меня к себе в дом, находившийся тут же при больнице. За ужином я сказал ему, что с удовольствием отосплюсь у него в

саду на свободной койке, так как в последнее время систематически не высыпался, а завтра утром еду в Душанбе попутной машиной.

— Зачем же машиной? — сказал главврач. — Можно и самолетом. У меня есть самолет санавиации, и как раз завтра он летит в Душанбе.

— Здорово! А погода как же? — спросил я.

— Полетит. На то это и санитарная авиация.

Потом главврач привел пилота и врача санавиации. Им оказался не кто иной, как прошлогодний мой знакомый Николай, с которым сидели на Хабурабате в осаде пурги. Обнялись. Оказалось, что самолет был вовсе не у главврача, а у Николая. Договорились, что рано утром за мной зайдут.

В ту ночь я мог бы спать отлично, но мы засиделись допоздна, и на сон времени осталось сущий пустяк.

Утром за мной зашел Николай. Я собрал рюкзак, распрощался с главврачом, и мы поспешили к посадочной полосе, размещенной на галечной пойме Ванча. По дороге я почувствовал, что заметно похолодало. Увидев самолет, я непочтительно присвистнул. Это была малюсенькая открытая машина с одним мотором и оторванным козырьком перед местом за спиной пилота. Увидев мой рюкзак, пилот нахмурился, кивнул мне за спину:

— И тяжелый он у тебя?

— Да нет, пустяки, — соврал я.

Снял рюкзак и, помахивая им для пущей убедительности, спросил, куда его девать. Мне указали место в хвосте. Там лежал и какой-то груз, и носилки сверху. На них я и кинул небрежно свой полуторапудовый рюкзак. Пилот успокоился.

Потом мы с Николаем сели в одно кресло позади пилота, за тем самым оторванным козырьком. Поскольку у меня была штормовка с капюшоном, я сел впереди, а Николай пристроился за моей спиной. Хотя кругом никого не было, пилот крикнул: «От винта!» Мотор затарахтел, машина тронулась с места. Пока самолет разбежался по галечнику, слышалось такое громохание, будто корыто волокут по булыжной мостовой.

В разжиженной мгле показалась уже вода Ванча, посадочная полоса кончалась, а самолет все бежал. Перед самой водой он задрал нос и, к большому моему удивлению, взлетел.

Мне приходилось в жизни летать на чем угодно. Но в такой вот старенькой открытой машине я летел

впервые. Ветер хлестал в лицо. Лоб был закрыт капюшоном штормовки, щеки и подбородок спасала от ветра густая борода, зато нос подвергался усиленной ветровой обработке. Это было неприятно, и я подумал, что на заседание в академию неизбежно явлюсь с фиолетовым носом.

Летели мы медленно, неправдоподобно медленно для летательного аппарата тяжелее воздуха. Я даже не подозревал, что самолет может быть таким неторопливым. Видимость была скверной. Уж на что я хорошо знаю местность, над которой летели, и то не всегда узнавал ее. Перед перевалом Хабурабат самолет долго делал круги, набирал высоту. Потом скользнул над перевалом, чуть не цепляя крышу знакомой метеостанции, и потарахтел вниз. Николай похлопал меня по плечу, показал на метеостанцию — дескать, не забыл ли?

Миновали Обихингоу. Потом внизу пошли гряды плавных лёссовых холмов. Ученые все спорят насчет того, откуда взялся лёсс — водой ли его намыло, ветром ли принесло, или при химическом выветривании он образовался на месте? Кабы летели они вот так, в слое пыли, то, наверное, высказались бы в пользу ветрового происхождения лёссов.

Мгла все усиливалась, и в Душанбе мы садились при видимости метров в двести — триста. Так сказал пилот.

Сели не на посадочной полосе, а где-то очень далеко. Пилот выскочил на крыло, подмигнул нам весело, спрыгнул на бетон и пошел к хвосту машины. Через минуту оттуда раздалась громкая ругань. Спрыгнув, я оглянулся. Пилот держал на весу мой рюкзак, зло глядел на меня и длинно-предлинно строил сложносочиненные предложения. Потом кинул рюкзак наземь, успокоился и изрек:

— То-то, я гляжу, он все нос задирает.

— Кто задирает? — спросил я, тупо глядя на него.

— Самолет, кто же, — сплюнул пилот.

— Так долетели же хорошо, чего ж ругаться...

Мы вышли на площадку перед аэропортом. Простились. Группа туристов усаживалась в автобус, не дождавшись отложенного рейса. Миловидная женщина обернулась и недовольным голосом протянула:

— Стран-нный какой туман.

— Это не туман, — сказал гид. — Это ветер. Он называется «афганец».

Дослушивать объяснение я не стал, пошел на

троллейбус. Завтра в академии совещание, надо отмыться и наконец-то вволю отоспаться. Прodelав за неделю около тысячи километров, я больше всего на свете хотел спать. Вот сейчас, доберусь только до дома...

Потом глянул на часы с календарем и остановился. Да ведь «году Змеи» уже конец! Он кончился три дня назад... Где я тогда был? Кажется, у ледника Медвежьего...

Когда подошел к своей улице, начал накрапывать дождь. Я обрадовался: скоро и мгле конец. Уж теперь-то пыль осядет...

Пыль оседает

(заключение)

Если читателю покажется, что в моих словах сквозит гордыня, значит что-то неверно в моих исканиях, и я видел не проблеск истины, а всего лишь мираж.

Махатма Ганди

Итак, «год Змеи» кончился. В суете дел и дорог я даже не заметил этого. Наступил «год Лошади». Но ничего не изменилось. Времени по-прежнему не хватало. Отмучавшись на заседаниях, я улетел из Душанбе в Ванч. Закончил там работу с почвоведом и поехал со своей командой в Шугнан замыкать съемку. Там мы дважды попадали в каменные ловушки ущелий и один раз основательно врезались в опасный камнепад. Потом снова поехали на Восточный Памир, где загубили на крупноглыбовой осыпи лошадь. Оттуда я проехал к пику Ленина, на склонах которого у меня разбился фотоаппарат. Потом поехали к Рушанскому хребту. Там на обледеневшем водоразделе пришлось поголодать. С водораздела спустились в долину Бартанга... И так все лето. И всю осень. И все последующие годы...

Вверх-вниз, вперед, снова вверх-вниз и вперед. А что за горизонтом? Впрочем, нет в горах горизонта. Есть рваная линия гребней, за которыми другие хребты. Вверх-вниз... Продолжалась обычная наша работа. Есть такая шуточная английская песенка:

Медведь перешел через гору.
И что, вы думаете, он увидел?
Он увидел другую гору.
И что, вы думаете, он сделал?
Он перелез ту другую гору.
И что, вы думаете, он увидел?..

И так далее. Внешне очень похоже на нашу работу.

Постепенно все утрясалось. Начатое доделывалось. Недоделанное откладывалось «на потом». Конфликты улаживались, и возникали новые. Каждый получал свое. Пыль от бурного того года осела. И хотя другие полевые сезоны были ненамного легче, а иногда и совсем не легче, я еще не знал, что бывает хуже, и долго вспоминал «год Змеи» как очень пестрый и трудный. Но время меняет многое, и с годами я стал оценивать тот год объективнее.

Конечно, полоса невезения ставила тогда меня и

нашу работу в сложные, иной раз в критические ситуации. Тысячи километров сквозь частокол вполне естественных и нелепых случайностей, осложнений, ошибок — все это так. Но «год Змеи» оказался также на редкость продуктивным. Вырисовывались схемы, строились начала концепций, решались интересные научные задачи. События того года во многом определили мою дальнейшую научную судьбу, круг интересов, содержание написанных позже книг и отброшенных заблуждений.

В тот год я повстречался с множеством разных людей, в большинстве своем интересных, даже замечательных. С ними теперь знаком и читатель. Ближе стали старые товарищи. Без них не было бы ни меня, ни этой книги. Завязывалась дружба, выяснялись другие отношения. Тоже очень важный результат.

Что случилось с моими попутчиками, сотрудниками, коллегами? Калашников и Сушков по-прежнему водят машины по горным дорогам. Только машины стали помощнее и дороги значительно лучше. Александр Павлович Дерунов заведует экспедиционной базой в Оше, ездить по Памирскому тракту в его годы стало трудновато. Зато внуков выросло много — радость жизни. Султанбек окончил институт. Женя Ченцова (Евгения Петровна Трофимова) — научный сотрудник Ботанического института в Душанбе. Зина теперь кандидат сельскохозяйственных наук. Антону Ивановичу Пошке недавно исполнилось 80 лет. Его юбилей широко отметила литовская республиканская пресса. Худоер Юсуфбеков стал академиком-секретарем биоотделения Академии наук Таджикской ССР. Михаил Леонидович Запрягаев по-прежнему работает в Памирском ботаническом саду, а самому саду присвоено имя его основателя — профессора Анатолия Валерьяновича Гурского... А многих уже нет. Такова жизнь.

Я не могу порадовать читателей завершенной фавбулой. Эта книга — не роман, и судьба некоторых персонажей мне неизвестна. Многих я потерял из вида, как это часто случается в жизни. К счастью, не всех. Круг моих друзей в тот год заметно расширился, и, когда я встречаюсь с ними, бываю по-настоящему счастлив.

Другие результаты года я тоже считаю важными. Верю, что каждый прожитый день так или иначе сказывается на человеке и незаметно складывается в сложную мозаику личности. Не окажись тот год именно таким, и я, наверное, тоже стал бы другим. А не хочется. Не могу сказать, что я так уж доволен собой,

но быть другим — это еще неизвестно, лучшим ли?

Памир после того года стал еще ближе, как верный, милый сердцу друг с нелегким характером. Редко мне выпадает сезон без Памира. Летом 1981 года повезло: машинами и вертолетом я повторил почти все пути, описанные в этой книге, посетил многие упомянутые места. Сделал я это не ради пустого любопытства, а по деловой необходимости: для отработки методов расчета осадков по растительному покрову (помните размышления в разделе «Белое пятнышко»?). Выгоднее было повторять геоботанические описания там, где они уже когда-то делались.

Это было фантастическое путешествие! Оно заняло не год, а всего три недели со всей работой. Если перемещались машиной, то мчались на хороших скоростях по сверкающему асфальту там, где прежде задыхались от пыли. Если перемещались по воздуху, то на мощных вертолетах с потолком, позволяющим высаживаться выше снеговой линии. Если останавливались в каком-нибудь кишлаке, всюду видели стройку: там возводили здание для шелковичных коконов, а там подводили под крышу новую школу.

Модно одетая хорогская, ванчская, рушанская молодежь ничем не уступала столичным сверстникам. Заметно возросло благосостояние: у многих свои машины или мотоциклы, в домах холодильники. Жители Памира теперь смотрят телепередачи через спутниковую связь. А в одном райцентре мы посмотрели захватывающий кинофильм, которого, как оказалось, не видели в столице республики.

Конечно, посевных земель не стало больше: горы — это горы. Дело в другом. Радикально сменился набор сельскохозяйственных культур. Раньше Памир сам обеспечивал себя хлебом, но с трудом. Сейчас завоз необходимого количества хлеба на Памир по новым асфальтированным дорогам не проблема, а на полях вместо зерновых стали возделывать дорогостоящие технические культуры, требующие горячего солнца. Вдоль дорог Западного Памира всюду видны кунжут, герань... Доходы хозяйств возросли. Сослужил службу и труд геоботаников: упорядочилось пастбищное хозяйство, расширены вновь освоенные земли.

Развились промышленность и строительство — дорожное, гражданское, промышленное, всякое. Расширилась сеть культурных, просветительских, научных учреждений. Создан первый на Памире Научно-исследовательский памирский биологический институт со своими опорными пунктами и станциями. Усилилась

горная добыча разведанных полезных ископаемых. И так далее. Все это требует рабочих рук и квалифицированных специалистов. Отсюда и рост жизненного уровня, вполне естественный. Сегодняшний Памир трудно сравнить с тем, который был на заре экспедиционной моей работы в горах.

Казалось бы, все хорошо. Но вот летом 1983 года сильнейшее половодье сокрушило в Таджикистане многие железные и бетонные мосты, смыло дороги. Центральная и местная пресса вновь тревожно сообщала о бедах и рапортовала о ликвидации последствий стихии. Снова была жара, даже более сильная, чем в тот «год Змеи»: на несколько градусов поднялся зарегистрированный метеорологами абсолютный температурный максимум. Нужно было вносить поправки в справочники. А тем временем таяли льды, ревели полыми водами реки, сползали в долины оползни, вырывались из ущелий селевые потоки... Памир снова показал свой характер. Правда, было это уже в «год Свиньи». А потом снова все вошло в норму...

Пути дел наших продолжают. Какой нынче год по «звериному календарю»? Впрочем, неважно. Наступает весна, и я снова собираю рюкзак...

Агаханянц О. Е.

A23 **Один памирский год: (Записки геоботаника).—**
М.: Мысль, 1987.— 190 с., 8 л. ил.
90 к.

Автор книги—ученый-исследователь—рассказывает об одном годе работы геоботанической экспедиции в горах Памиро-Алая. Вместе с автором читатель совершит путешествия к верховьям реки Пяндж, в высокогорья Шугнанского хребта, в знойные долины Южного Таджикистана, в некоторые города Средней Азии.

A 1905020000-022 **147-87**
004(01)-87

ББК 28.58

Окмир Агаханянц
Один памирский год
(Записки геоботаника)

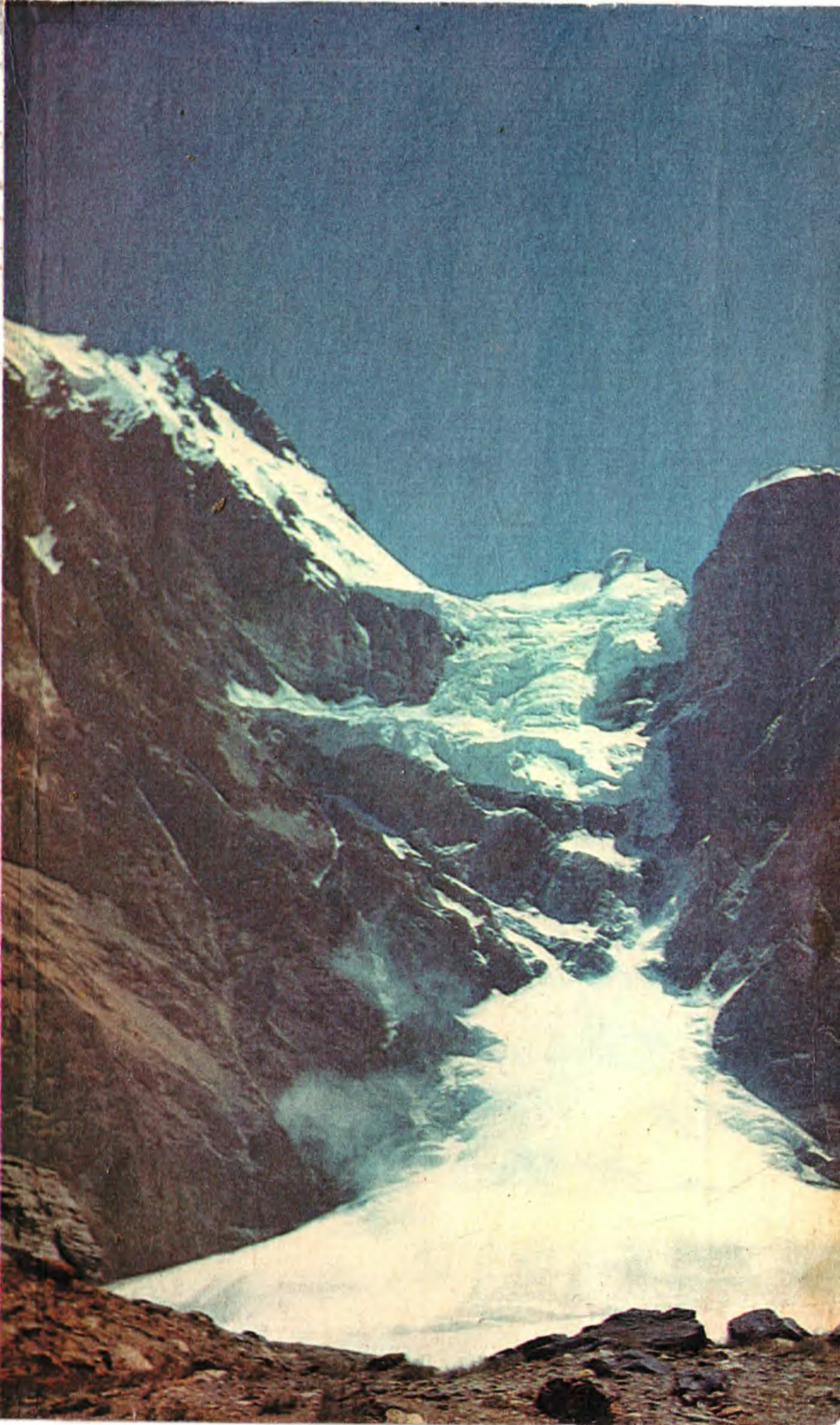
Заведующий редакцией Ю. Л. Мазуров
Редактор Т. Д. Изотова
Младший редактор Е. В. Попова
Художественный редактор С. М. Полесицкая
Технический редактор Л. П. Гришина
Корректор Г. С. Михеева

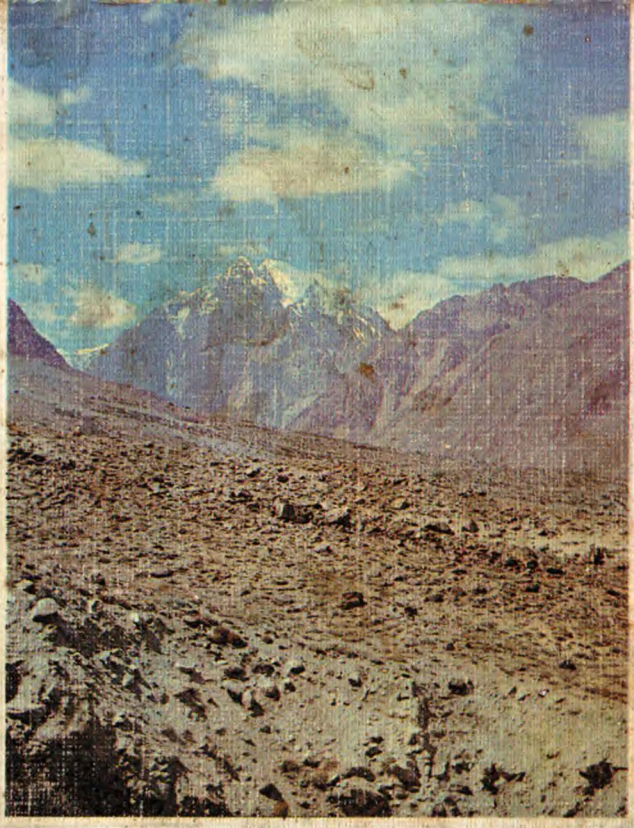
ИБ № 3057

Сдано в набор 10.06.86. Подписано в печать 19.11.86. А 09803. Формат 84×108/32. Бумага
типогр. № 2. Гарнитура Гельветика. Печать высокая. Усл. печатных листов 10,92 (с вкл.). Усл.
кр.-отт. 14,32. Учетно-издательских листов 12,14 (с вкл.). Тираж 60 000 экз. Заказ № 2741.
Цена 90 к.

Издательство «Мысль». 117071. Москва, В-71, Ленинский проспект, 15

Ордена Октябрьской Революции и ордена Трудового Красного Знамени МПО «Первая
Образцовая типография» имени А. А. Жданова Союзполиграфпрома при Государственном
комитете СССР по делам издательств, полиграфии и книжной торговли. 113054, Москва,
Валовая, 28.





Профессор О. Е. Агаханянц
хорошо известен
в нашей стране и за рубежом
как автор фундаментальных
монографий и увлекательнейших
повествований об исследованиях гор,
их растительного покрова.

Об одной из его последних книг
американский ботаник Джек Мэйджор
писал: "Ничего, подобного этому,
на английском языке нет".

Добавим, что и на других — тоже.

В известной мере это относится
и к этой книге.